

РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА

КЛАРА БЕРЕЗОВСКАЯ

ДОРОГИ ГЕТТО

МОСКВА 2018

Центр и Фонд «Холокост»

Издательско-полиграфическая фирма «Полимед»

ББК 63
УДК 94(4)+929
Б 48
ISBN 5-88832-030-7

«РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА»

Клара Березовская
ДОРОГИ ГЕТТО

И.А. Альтман (отв. редактор),
А. Е. Гербер, Ю. А. Домбровский, Ю. И. Каннер,
Б. Н. Ковалев, Г. В. Костырченко, А. И. Круглов, (Украина),
Д. И. Полтораки, Е. С. Розенблат (Беларусь),
Л. А. Терушкин (отв. секретарь), К. М. Феферман,
М. В. Шкаровский, д-р Арон Шнеер (Израиль)

Редактор:
Л. Терушкин
Компьютерная верстка:
И. Бродская

Березовская К. «Дороги гетто» — М.: Полимед, 2018, — 144 с.

Воспоминания очевидца геноцида евреев на Украине Клары Березовской, написанные в 1946 г. О геноциде евреев в оккупированной немцами Умани известно мало. По одной простой причине — рассказать некому: еврейский вопрос в столице хасидов был решен с германской дотошностью. И вдруг, после долгих беспмятных лет с пыльных антресолей сошел в мир документ невероятной силы. Написанный по горячим следам, когда цепкая память во всех подробностях хранит события, имена, факты, лица.

Издание подготовлено при поддержке Центра и Фонда «Холокост» и Женской лиги Российского еврейского конгресса.

© Центр «Холокост», 2018
© ИПФ «Полимед», художественное
оформление, верстка, 2018
© В. Бродский, дизайн обложки, 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2007 году предприниматель Михаил Москаленко обратился к своему другу Олегу Сахарнову с просьбой почитать мемуары его бабушки Клары Марковны Березовской. Его интересовало, есть ли в них что либо ценное. Олег, потрясенный прочитанным, дал мемуары мне.

О геноциде евреев в оккупированной немцами Умани известно мало. По одной простой причине — рассказать некому: еврейский вопрос в столице хасидов был решен с германской дотошностью. И вдруг, после долгих беспмятных лет с пыльных антресолей сошел в мир документ невероятной силы. Написанный не через много лет после войны слабеющей рукой, а по горячим следам, когда цепкая память во всех подробностях хранит события, имена, факты, лица. Клара Марковна записала свои воспоминания в 1946 году — было ей тогда 52 года. Пером ее водили, несомненно, долг перед мертвыми, а еще — боль и ужас. Читая написанную ею книгу, физически ощущаешь, как перо рвало бумагу.

Известно об авторе немного. Родилась в 1894 году. До революции — курсистка, закончила Киевский институт народного просвещения, по профессии — микробиолог. В Умань приехала в начале двадцатых, где вышла замуж за Давида Абрамовича Бурштейна (1877 — 1941?), уже известного в городе врача, выкреста — чтобы иметь возможность обучаться любимому делу в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, он принял православие. Этот брак был для него вторым — его первая жена Полина, дочь владельца угольной шахты на Украине, попросила перед своей смертью свою компаньонку Клару Березовскую взять на себя заботы о ее муже и сыне Михаиле.

В 1924 году у Давида и Клары родилась дочь Лина.

В начале войны Кларе Марковне удалось эвакуировать семнадцатилетнюю дочь, самой же пришлось остаться в Умани вместе с мужем, который считал, что не имеет права бросать своих пациентов.

Приемный сын Клары Марковны Михаил, уже состоявшийся доктор, кандидат медицинских наук, с первых дней

войны был призван и до Победы проработал в армейских госпиталях. После войны в 1946 году он возглавил во Львовском медицинском институте кафедру психиатрии. Во Львов по окончании войны переехала и Клара Марковна, где получила в заведование многопрофильную лабораторию при психиатрической больнице.

Там, во Львове, в маленькой комнате в коммунальной квартире на улице Куйбышева и была написана эта книга.

Дочь Клары Марковны Лина Давидовна прожила долгую жизнь — стала врачом-психиатром, защитила диссертацию, работала в Москве в институте им. Склифосовского. В семидесятых годах Клара Марковна переехала к дочери в Москву, где умерла в 1976 году.

От своей матери Лины Давидовны Михаил Москаленко получил в наследство папку с ветхой, пожелтевшей от времени машинописью.

Больше сорока лет на свете нет Клары Березовской. Но вот, случилось: мы слышим ее голос. Ее живую, с милыми украинизмами, речь. Читать страшно. Но необходимо.

Иван Алексеев

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»
(Долорес Ибаррури)

Начало войны застало меня в Одессе, в кардиологическом институте. Накануне этого страшного дня я была в городе и слышала, что война с Германией — дело дней, а может, и минут. И правда, еще вчера вечером больные спокойно гуляли в саду, разговаривали, смеялись, а утром... Утром всех позвали в большой зал и сообщили о подлом нападении немцев, о бомбардировке Киева, Житомира, Львова. Растерянность была ужасная, все были потрясены, некоторые даже — до обморока. Самое страшное, что война застала нас вдаль от дома. Всех охватило желание как можно скорее бежать домой. Одесские жители стали разъезжаться сразу, иногородние бросились за билетами в бюро поручений. Все тотчас выздоровели, и вчерашний «сердечник», которому запрещено было сделать лишний шаг и которого кормили как младенца, — сразу встал на ноги и пустился хлопотать. Вскоре начали стрелять зенитки, над городом появились аэропланы.¹ Кто-то выходил на улицу, чтобы посмотреть на воздушные бои, а большинство, заслышав выстрелы зениток, металось по помещению, стонали, плакали, некоторые спускались в погреба. Но через пару дней люди, видимо, стали более опытными и потому более выдержанными.

26 июня, обегав половину города в погоне за билетами и с трудом заполучивши их, мы пошли к вокзалу. Суматоха кошмарная, лица испуганные — все боятся обстрела. Вокзал наглухо закрыт, впускают строго по очереди и — перед самым отходом поезда. Ждем. Очередь растет и пухнет. Она уже вернула за угол и теряется где-то там, вдаль. Разговор вертится вокруг одного: будут ли вечером обстреливать или как-нибудь обойдется на этот раз. Постепенно надвигаются сумерки. Стоим и смотрим на небо. Вроде бы все спокойно. Темнеет... Люди начинают перебегать из одной очереди в другую. Другие сердятся, призывают к порядку, угрожают — словом, волнуются.

¹ Первый налет на Одессу состоялся 22 июля 1941 г.

Наконец в 10 часов вечера нас пропускают в здание вокзала. Двигаемся медленно, у входа показываем билеты и идем дальше в вокзальный сумрак. Только свет фонарей проходящих мимо железнодорожных служащих несколько помогает сориентироваться. Наконец подходим к нужному вагону. Необходимо предъявить проводнику добытый с таким трудом билет, но я в темноте никак не могу его найти. Нервничаю, волнуюсь, но, наконец, вхожу в вагон. Поезд отходит от станции поздно ночью — без свистка, с наглухо закрытыми окнами. Странно и непривычно. Едем. И чем дальше от Одессы, тем легче на душе. Первый свисток поезда пассажиры встретили с радостным чувством облегчения.

Подъезжаем к Вапнярке. Выходим на перрон. Сутолока огромная. Возвращаюсь и сквозь людскую гущу пытаюсь пробраться в вагон. Когда я все-таки оказываюсь на площадке вагона, вижу, как какой-то мужчина, не то учитель, не то агроном, тоже втискивается в вагон, при этом грубо расталкивая публику. Получив от него сильный толчок в бок, не выдерживаю и говорю: «Ведь вы советский гражданин, разве можно так толкаться?» При этих словах лицо у него искажается, и такая страшная, неприкрытая злоба выражается на его лице, что мной овладевает тревога.

В Христиновке пересеживаюсь в полупустой вагон — на Умань. Вдруг заходит генерал воздушного флота.¹ В руках развернутый роман, сетка с яблоками и еще с чем-то съестным. Усаживается в том же купе, где находимся я и какая-то женщина с ребенком, беженка из Бессарабии. Военный начинает весьма любезно с нами разговаривать. Спрашивает, куда едем, откуда. Узнав, что женщина из Бессарабии, усмехается, в его серых глазах мелькают какие-то искорки, и он говорит: «Да, вас там немного потрепали». Я слушаю его с огромным удивлением. Не объясню почему, но чувствую в нем что-то необычное. Выражение лица при словах «вас там потрепали» не выходит из головы. Почему «вас», а не «нас»? Эта мысль сверлит мой мозг. Наш спутник весьма любезен, словоохотлив. Он рассказывает, что едет в Умань за двумя сыновьями, которых оставил у бабушки Рудницкой на Дворянской улице, а сам до последнего времени лечился на Кавказе. Когда вспыхнула война, он поспешил отпроситься у начальства, чтобы съездить за детьми, а жену отправил в Москву. Но чем дольше он говорил, тем большее недоумение я испытывала. В Умани была когда-то Дворянская улица, но она давно переименована в Пролетарскую. Однако фамилия Рудницких мне известна. Узнав, что я коренная жительница Умани, он все внимание направляет на меня. Много говорит об Умани, о прекрасной

¹ Имеется в виду генерал авиации.

Софиевке,¹ но описание красот Софиевки во многом не соответствует действительности. Я его внимательно слушаю, и, видимо, что-то в моем лице ему не понравилось. Вдруг он переходит на тему о том, что в последнее время стали вдруг часто «ловить шпионов», а на самом деле по большей части задерживают порядочных людей, которые, между прочим, спешат по важным делам. Я ему на это говорю: «Лучше в таких случаях переборщить, чем недоборщить». В ответ он как-то странно поднимает брови.

Еще большую тревогу вселяют в мою душу его серые глаза и вроде бы ласковая улыбка, открывающая передние зубы в стальных коронках.

Улучив момент, когда поток его слов прервался, я вышла в соседнее отделение вагона. Вагон полупустой, едут какие-то два человека. Один, по виду дровосек, везет топор и пилу, но лицо исключительно чисто выбрито, глаза голубые — с каким-то особым блеском, который, как мне кажется, не встречается у наших людей; губы сухо поджаты. Внешне напоминает финна. Возвращаюсь. «Мой генерал» внимательно оглядывает меня и поворачивается к окну. Поезд внезапно останавливается, не доезжая до станции. «Генерал» хватается свою сетку, книжку, говорит «до свидания», соскакивает с поезда и исчезает. Моя спутница обращается ко мне: «Какой странный человек». Я опять выхожу, оглядываюсь по сторонам и убеждаюсь, что заявить об улетевшей птице некому.

Вот и Умань. Иду домой. Улицы какие-то странные, как будто настороженные. На улицах много людей, что-то происходит. Но что?

29 июня из Львова вдруг приезжают сын с женой. Он рассказывает о подлом нападении немцев, о предательстве. События назревают с головокружительной быстротой. 3 июля сын уезжает в армию. А я чувствую, что мной овладевает безумие: животный страх за дочь, желание куда-то ехать, бежать без оглядки — и какая-то страшная инертность: ни на что я не способна, только на слезы и отчаяние. 5-го июля стало известно, что жены ответработников² уже уехали — автомашинами. Это послужило сигналом: многие стали готовиться к отъезду. В городе сутолока, суетня. Начали продавать вещи — сначала на базаре, на толкучке,³ а потом решили, что незачем ходить так далеко, и торги открылись перед каждым домом. Продаются посуда, скатерти, швейные машины, велосипеды и прочую утварь. Торговлю часто ведут девочки-подростки или старухи, остальные члены семьи целыми днями бегают

¹ Северный район Умани.

² Ответственный работник — партийный или профсоюзный функционер.

³ Место, где торгуют подержанными вещами.

по городу в погоне за билетами, за транспортом. Вещи отдают за бесценок. Из деревень приходят женщины — посмотреть, что здесь можно недорого купить, — и слоняются от двора ко двору. Кто-то покупает, а кто-то покупать не советует: мол, вещи все равно останутся, и можно будет получить их бесплатно. А власть бездействует.

Впрочем, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок при проведении эвакуации, власти додумались до «умной меры». Объявили, что для выезда нужен пропуск. Умные на этот «закон» не обратили внимания, а доверчивые простаки стали хлопотать и вымаливать пропуска. В результате дождалось встречи с немцами.

Ночью по радио звучит чей-то голос. Он сообщает о том, что приближаются вражеские машины, что городу угрожает опасность, голос какой-то странный, полный животного страха. Начинается всегда так: «Внимание, внимание! Граждане, к городу приближаются вражеские самолеты»... Вскливаешься как безумная, одеваешься в темноте, зовешь всех и бежишь в траншею. Посидишь полчаса и возвращаешься в квартиру — досыпать. Утром узнаешь обычно, что бомбили Христиновку.¹ Днем тоже все чаще стали объявлять воздушные тревоги, но вражеские самолеты до нас пока не долетали. Рассказывали шепотом, что за городом во время воздушных тревог встречались телеги, груженные странными тюками, завернутыми в суконные одеяла. Эти тюки перевозили неизвестно куда. Как-то днем по нижним улицам, за Ленинской, пронесся слух, что только что видели немца. Все волновались, суетились, но никто ничего не сделал, чтобы его задержать. Немец благополучно скрылся.

Немцы приближались. Сводки становились все страшнее. Я потеряла покой. Страх перед немцами захлестнул меня. 6-го июля ушла в глубь страны первая партия детей. Потом говорили, что они идут пешком только до Тального,² а там им предоставят эшелоны. Это необходимо якобы потому, что железную дорогу бомбят и рискованно везти детей поездом. Еще 5-го июля предложила своим уложиться и, придя с работы, нашла упакованные чемоданы. Видя, как постепенно разъезжаются сотрудники, как редуют ряды наших медработников, впадаю в панику. Бросаюсь к товарищам, прошу прикрепить мою дочь Лину к госпиталю и вывезти ее, а мы поедем позже, когда разрешат. Но мои старания напрасны. Везде наталкиваюсь на глухую стену. Пришла мысль, что отпустила бы дочку с отрядом мальчиков, который должен отправиться 7-го июля. Предполагается, что пешком они доберутся до Тально-

¹ Христиновка, город в 20 км от Умани.

² Тальное, город в 45 км от Умани.

го, а оттуда поездом поедут в Сталинград. Утешаюсь тем, что позже, когда нас отпустят с работы, и мы туда приедем, Что нас здесь не оставят, — в этом не было сомнения.

7-го июля утром моя девочка куда-то понеслась, но часам к 12-ти явилась домой и объяснила, что начальник отряда разрешает ей примкнуть к ним. Однако в отряд она не вступит, а будет следовать за ними. Весть о предстоящем отъезде моей дочери взбудоражила знакомых, и многие советовали задержать, не отпускать Лину. Я колебалась. Решила переговорить кое с кем, у кого дети уходили с этим отрядом. Пропливной дождь. Бегу к знакомым, но не застаю никого, так как они уже пошли провожать своего мальчика. На обратном пути узнаю, что заведующий райздравом¹ свою семью уже отправил. Значит, медлить нельзя, Лину необходимо отпустить.

Прихожу домой. Застаю домашних в слезах, а дочку в страшном возбуждении. Хватаю вещи и дрожащими руками сую их в рюкзак. Действую, как соннамбула. Складываю, выбрасываю и опять укладываю. Не знаю, что надо дать и что оставить. Кричу, обращаюсь к пришедшим к нам друзьям и знакомым, прошу помочь разрешить задачу: отпустить дочь или оставить при себе. Лица растерянные, взволнованные, никто ничего членораздельно сказать не может; чувствую, что в голове у меня туман. Наконец кое-как укладываю вещи в мешок. Хватаю золотые часы — все, что было ценного, — и зашиваю ей в мешочек на тот случай, если почему-либо не сумеем скоро добраться до нее. Дочка моя снаряжена. Идем к другой девочке, которая захотела идти вместе с моей. Я все-таки надеюсь, что Лина не уйдет, вернется домой и мы уедем вместе в ближайшие дни. Пока та девочка собирается, прошу свою дочь пока остаться. Но она не соглашается. Идем к сборному пункту. Оказалось, что мы опоздали и отряд уже ушел по направлению к Пиковцу,² по дороге, что идет мимо кладбища. Девочка, которая шла вместе с Линой, вспомнила, что оставила паспорт, и тут же вернулась домой. Моя же рвется вперед и бежит, чтобы догнать ребят, я за — ней. По пути заходим на квартиру знакомого извозчика, живущего рядом. Но его нет дома, он уехал в город, Лина что-то говорит жене извозчика, та что-то шепчет своему мальчику, и тот исчезает. Вскоре подъезжает извозчик. Лина вскакивает в бричку, я за ней. Едем догонять ушедший отряд. Дождь — как из ведра. За городом глиняная почва превращается в желтое море. Лошадь вязнет. Извозчик посылает сына за второй лошастью. Чем дальше едем, тем больший страх за дочку охватывает меня. Я не могу себе представить, что вот сейчас, совсем скоро, со мной не будет моей де-

¹ Районное управление здравоохранения

² Село под Уманью.

вочки, моей Лины. Решаю ее оставить, вернуться в город или, ни с чем не считаясь, бросить работу и уехать вместе с ней. Лишь бы только не разлучаться. Уговариваю ее остаться, но она неумолима. И вдруг это молодое существо произносит роковые слова: «Чувствую, что вы не выберетесь, вы останетесь здесь». Я говорю ей, что врачей оставить не могут, что во время войны они особенно ценны. И еще я объясняю ей, что мы не имеем права уезжать, когда нам хочется, что мы связаны работой и нужны пока здесь. А как только получим разрешение, мы уедем машиной — только этого я жажду, только об этом мечтаю. И вдруг, когда у меня нет больше ни слов, ни слез, вижу, что она начинает колебаться. Киваю извозчику, и он поворачивает. В это мгновение навстречу выезжает телега. На ней возница с ребенком, а рядом шагает женщина в сапогах. Увидев, что мы поворачиваем, она кричит: «Что вы делаете? Пусть девочка идет с отрядом. Они идут в Тальное, там будут спасены». Лина срывается с брички, летит по грязи вперед и грозит мне, что уйдет без вещей, если я буду противодействовать. И я подчиняюсь. Хлещет дождь. Лошадь вязнет, тащить нас уже не может. Однако нас скоро догоняет мальчишка, посланный отцом за второй лошадей. Лошадь по брюхо в грязи. Ее впрягают, и мы двигаемся дальше. А детей все не видно. Крепко держу дорогие руки и объясняю, как быть, если случайно не выберется и застрянет: комсомольский билет закопать в надежном месте, причем ни в коем случае не указывать, откуда ты, чтобы не нашлось знакомых. Фамилию надо взять мою, более привычную для уха. Еще и еще без конца что-то шепчу, наставляю, как жить без меня. Вдруг возле леса замелькала вереница людей, идущих как-то врассыпную. Приближаемся. Это мальчишки, они идут молча, небольшими группами. Лица хмурые, напряженные. Кто-то останавливается, не в силах вытащить увязшие в грязи ноги, но потом подтягивается и догоняет компанию. Зовем товарища Лины, с которым она хочет вместе пойти. Наконец он отозвался. Дочь соскочила с брички, схватила вещи, перекинула на воз, идущий следом, а сумку с едой взяла в руку. И, увязая в грязи, догнала мальчишков. Те подхватили ее под руки. Не глядя на меня, не крикнув «прощай», пошла моя девочка вперед, в неведомую даль. Я встала. Извозчик стоит неподалеку. Вдруг я увидела ту женщину, что завернула нас по дороге, подошла к ней и говорю: «Вы — мать, обещайте мне, что в дороге поможете моей девочке, чем сможете». Она удивленно вскинула на меня глаза и, немного подумав, произнесла: «Обещаю».

А я продолжала стоять. Через несколько минут последний мальчик скрылся за лесом. Подошел извозчик, потянул меня за рукав. Я села в бричку и поехала обратно. Всю дорогу кри-

чала и билась о стенки экипажа, как деревенская баба. Ехали по совершенно замершему городу. Поражало отсутствие патруля. Никто не задержал, не спросил, откуда и куда, а ведь город был объявлен на осадном положении. В 11 часов вечера еле дошла до своего дома, ухватившись за рукав извозчика. И вошла в дом, в котором уже не было моей дочери.

Потянулись страшные дни и еще более страшные ночи... Ночью не сплю, лежу, закрыв глаза. Перед глазами моя девочка, шагающая по грязи, идущая в неизвестное. Рисуются всевозможные ужасы, которые могут с ней случиться. Вскрываю и начинаю бегать по комнате. Просыпается мать, смотрит на меня и старается успокоить. Я все шепчу: «Увижу ли я еще Лину?» Мать смотрит мне в глаза и говорит: «Увидишь, увидишь, я тебе говорю». Ложусь спать, через несколько минут схватываюсь и снова бегаю по комнате. К утру забываюсь и пару часов как будто сплю.

Утром — на работу. По дороге заходим к директору узнать сводку — а вдруг есть что-нибудь новое, но главное — как обстоит дело с отъездом. Каждый день одно и то же: успокаивает, рекомендует не волноваться, поездом ни в коем случае не ехать, потому что мой муж болен грудной жабой и в условиях поезда безусловно погибнет. А в дальнейшем, когда в Умань хлынули раненые, определенно заявил, что уже имеет про запас машину, бензин и скаты и вывезет нас в Новосибирск. Точное указание города, куда нас отправят, особенно успокаивает расстроеным нервам. Подтягиваешься и идешь работать.

Ночью бомбили Христиновку. Во дворе больницы появляется грузовик и останавливается у подъезда хирургического корпуса: привезли раненых. Стоим все и ждем, чтобы кто-нибудь вышел из кабины, но ничего не происходит. Шофер что-то говорит стоящей поблизости санитарке. Она открывает кабину, шофер обнимает ее за шею, подбегает еще одна санитарка, и они вдвоем несут его наверх. Оказывается, он тяжело ранен в ногу. Начинается лихорадочное распределение раненых. Старуха из Винницы с глубокой раной в бедре мечется на кровати. Ее невестка, тоже раненная, лежит в другой палате. На кровати возле нее целый ворох денег, а самую большую пачку она силится засунуть под подушку.

Я перехожу на работу в хирургическое отделение, так как спокойная и тихая работа в лаборатории мне не по душе. Только в процессе горячей работы немного отвлекаюсь от тревожных мыслей о детях и вообще о том, что всех нас ждет.

9-го числа, вечером, сижу у себя в квартире. За столом сидит доктор Б. и разглагольствует на тему, ехать или не ехать. По его мнению, уезжать нельзя: в дороге голод, воды нет, хлеб стоит 75 рублей, и тех, кто уехал, ничто, кроме смерти, не

ждет. У него большая жена, двое детей, и он не желает подвергать их лишениям. «Будь что будет, — говорит он. — Если суждено умереть, то на своей кровати». Эту мысль высказывали многие, но, как показала жизнь, никто не хотел умирать даже на своей кровати.

Следующие дни не приносят ничего хорошего. Однажды распространяется слух, будто немцев отогнали от Львова,¹ что Буденный (С. М. Буденный — в июне 1941 г. командовал группой войск армий резерва Ставки, затем — главком войск Юго-Западного направления (10 июля — сентябрь 1941 г. — Прим. сост.) со своими войсками изменил ход войны. Иду в город. Встречаю доктора Г. Он с удовольствием рассказывает, что казаки Буденного дерутся исключительно храбро, нанизывают немцев на пики и в Умань немцы не придут. Ушел в очень благодушном настроении.

Пакую и перепаковываю вещи. Сначала все было в чемоданах, потом я переложила вещи в мешки большого размера, а затем, чтобы было удобнее, мешки укоротила.

10-го июля бегу в госпиталь — опять похлопотать о возможности выехать. Всюду знакомые лица, такие странные в военном обмундировании, непривычные для глаза. Смотрю, стоит одетая в военную форму регистраторша из поликлиники и кокетливо разговаривает с молодым лейтенантом.

В перевязочную вводят раненного в руку красноармейца. Человек немолодой, лет под сорок, русский. Как обычно, начинаем расспрашивать, в том числе где и как ранен. Оказывается, начальство не разрешает подбирать раненых, потому что спекулирует автомашинами. Опустив голову, он говорит: «Если бы не измена, не бежали бы из Западной». Крупные слезы капают из его глаз. Слово «измена» звучит все чаще.² Чувствуется что-то страшное. Говорят, что Ворошилов (К. Е. Ворошилов — член Государственного комитета обороны (ГКО), с 10 июля 1941 г. главнокомандующий войсками Северо-западного направления — Прим. сост.) сам застрелил какого-то генерала за предательство. Что среди руководства измена. И каждый день перед горсоветом выстраивается огромная очередь за пропуском, без которого уехать нельзя.

Вскоре в город нахлынули беженцы из Винницы, Западной Украины и Бессарабии. Несколько наших врачей, которым не удалось уехать поездом, уехали на лошадях. По го-

¹ Львов был взят частями вермахта 30 июня 1941 г.

² В начале июля «за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти» было арестовано, а затем расстреляно руководство Западным фронтом (генерал армии Д. Павлов, генерал-майор В. Климовских и др.).

роду разнеслись слухи, что при переправе через Днепр под Черкассами они погибли от бомбежки. Рассказывал человек, который вез их до Днепра. Он говорил, что сам видел, как бомба попала в ту лодку, где были эти люди. Много позже, когда пришли немцы, этот человек поселился в квартире одного из уехавших и присвоил себе его имущество. Его рассказы производили гнетущее впечатление. Некоторые люди, из тех, кто их слышал, говорили, что предпочитают умереть на месте, а не в скитаниях. Некий М. заявлял, например, что не видит смысла в том, чтобы идти навстречу лишениям и смерти. «Пусть пуля меня ищет, а не я пулю», — заявил он с достоинством. Так и случилось: пуля нашла его, как только пришли немцы. Прохожу по городу и слышу, как один беженец из Львова беседует с окружившими его людьми. Парень молодой, одет не по-нашему, в брюках, собранных на резинку у щиколотки, в шерстяных чулках и туфлях. Он говорит: «Если бы я имел квартиру в Умани, никуда не уехал бы. Гитлер всех не перебьет». И кто-то поддавался таким разговорам.

16-го утром, как и каждый день, по дороге на работу ходим к директору больницы — доктору Кирилловскому. Он всегда встречает нас словами: «Работайте, работайте, я вас выведу в Новосибирск». В этот день в больнице чувствовалось особенное волнение. Возле канцелярии встречаю секретаря больницы, она чем-то сильно озабочена. Во дворе, возле своего дома, вижу грузовик. Военные с этого автомобиля зашли к нам, один из них рассказывает, что он ехал за женой в Винницу, но ее уже не застал. Как только стемнело, машина выехала со двора. И один за другим, сплошной цепью, потянулись мимо нашего двора автомобили. Стою у ворот час, другой — машинам конца-края нет. Вдруг в темноте слышу как будто знакомые голоса на одной из машин, остановившейся возле наших ворот (как раз образовался большой затор). Подбегаю и прошу сказать, не больничная ли это машина, так как голоса знакомые. В ответ гробовое молчание. А машины двинулись и одна за другой уехали. С ними ушла и последняя надежда. В 4 часа иду через дорогу к сотруднице, бужу ее, и мы бежим в больницу. Возле больницы тихо — никого нет. У привратника узнаем, что вечером наша эвакуотройка — директор больницы, зав. горздравом и директор медшколы, — захватив секретаршу и еще двух женщин, не имевших никакого отношения к больнице, соизволили удрать на грузовике, заполненном матрацами и одеялами. А эвакуация медработников якобы всю ночь происходит от поликлиники. Бежим туда. Впечатление — как от вокзала на большой станции в период снежных заносов. Людей полно, вещей еще больше. Кто стоит, прислонившись к стене и дремлет, а кто,

сидя на вещах, спит. Вдруг вижу у окна своих приятельниц. Бужу их. Они рассказывают, что пресловутый доктор Кирилловский направил всех в поликлинику и приказал завхозу предоставить им транспорт. Когда люди побежали в поликлинику, начальство удрало. Конечно, никакого транспорта не было, и люди, расстроенные и возмущенные, утром ушли домой. К «чести» Кирилловского нужно сказать, что он не вывез и своих родителей, и когда его старый отец пришел рано утром в больницу искать сына, то ему посоветовали немедленно убраться, чтобы на нем кто-нибудь не выместил накопившую злобу. По возвращении домой я увидела мужа, который, опершись на стол, спал возле телефона. Он ждал звонка от директора больницы.

Утром 21 июля был взорван аэродром. За тюрьмой все небо заволокло огромными клубами черного дыма. Народ в панике. Стоим у ворот с тюками на спине. Видимо, на наших лицах столько растерянности и страха, что один из красноармейцев, стоящий во весь рост на мчащемся грузовике, машет нам рукой и делает успокаивающие жесты: мол, все не так страшно. Охваченная безумным страхом, бегу в больницу за мужем. Навстречу растерянные лица, дрожащие руки с судорожно прижатыми к груди вещами. Люди куда-то несутся. По двору больницы стелется дым, с аэродрома доносится оглушающий грохот. Наталкиваюсь на мужа, кричу, чтобы немедленно вместе со мной бежал из города. Возле дома к нам присоединяются другие члены семьи. Не зная, в каком направлении двигаться, бросились к вокзалу. Разразился дождь. Встречные предлагают нам зайти куда-нибудь и переждать. Ждем, пока погода прояснится, и... возвращаемся домой.

Начался обстрел города из пулеметов и с аэропланов. Днем узнаем, что из больницы раненых везут к вокзалу. Бежим с мужем туда. Оказалось, в Умань прибыла какая-то воинская часть и немолодой врач, заведующий санчастью, отправляет раненых. Глядя на него, серьезно и вдумчиво отдающего приказы, толково распоряжающегося, я почувствовала, что мне стало как-то легче дышать. За последнее время я впервые увидела толкового начальника. Он обещал отправить нас вместе с ранеными, но предупредил, что нам необходимо получить эвакуодокUMENTы. Под обстрелом мы бросились в горсовет. Еле нашли председателя, а он направил нас к секретарю. Бегаем по этажам пустого дома, хлопаем дверями, волнуемся, но, наконец, получаем требуемое и — бегом в больницу. Недалеко от больницы попали под обстрел с самолета, у забора упали на землю, отлежались, и затем — опять бегом. Потеряли очень много времени. Пьяный шофер ни за что не соглашается заехать по дороге за нашими семьями и уезжает без нас. Отъезд опять сорвался.

На другой день разносится весть, что в соседнем магазине будут давать хлеб и продукты. Все устремляются туда. Образовалась очередь. Обычный шум и сутолока. Вдруг раздается сигнал воздушной тревоги. Так как это явление обычное и до сих пор все проходило благополучно, публика решает не нарушать очередь. Я тоже остаюсь. Неожиданно прибегает моя мать и заставляет меня уйти домой. Все мы сидим в коридоре, обсуждаем нашу поездку, так нелепо сорвавшуюся вчера. И слышим звук самолета, а вслед за этим страшный свист падающих бомб. Воздух сотрясают разрывы. Мы падаем на пол. Окна распахиваются, осколки стекла, мусор — все летит в комнату. Дом дрожит, со стен сыплется штукатурка. Затем все успокаивается. С улицы доносятся вопли. Оказывается, в очереди погибло несколько человек. Жестью с крыши снесло череп молодой женщине, и она лежит, окровавленная, на мостовой, а возле нее маленький ребенок, которого она держала на руках. Несчастную похоронили здесь же, в траншее.

Вскоре начинают поговаривать, что в соседних селах немцы. Утром об этом рассказывал старик дворник. По осанистой фигуре и круглой физиономии с карими глазами и седыми усами видно было, что он из раскулаченных. Появился он как-то вдруг, незадолго до войны. Его всегда угрюмое, неприветливое лицо с первых дней войны приобрело какое-то лукавое выражение. Когда все завертелось и заметалось, он стал таскать к себе в каморку все, что попадалось под руку. Почти каждый день приходила его старуха, и он передавал с ней в село бочки, лоханки и прочее. Как-то пропал на целый день. Говорили, что потащил в деревню большую бочку. На следующее утро появился и стал рассказывать, что немцы купили у одного селянина кабана и дали ему десять рублей золотом. И что дал эти деньги немецкий офицер. В его голосе при этом звучало чувство глубокого почтения к немцу.

Ночь перед первым августа мы провели в погребу у соседей. Людей набилось полно. Немецкая артиллерия обстреливала город нечасто. Но все равно нам, еще не привыкшим, это казалось ужасным.

На рассвете этого дня завязался разговор. Дело в том, что еще несколько дней назад я обращалась к старику-украинцу Я., инвалиду без ноги, с просьбой запрячь лошадей, которых он держал во дворе, и отправиться в путь. Я молила его об этом, доказывала необходимость скорейшего отъезда. Но он не соглашался, однако причину не объяснял. Теперь же, в этом погребе, он вдруг обратился к моему мужу: «Не волнуйтесь и не слушайте вашу жену. Вот увидите, как мы заживем. Я еще открою мастерскую экипажей и посчитаюсь с теми, кто меня обидел. Я покажу им, как забирать у меня 1000 рублей». Кому

он угрожал, он так и не сказал. Но с этого момента для меня особенно ярко выявилось расхождение между людьми. Одни рвались бежать и впадали в глубокое отчаяние, когда убеждались в невозможности уйти отсюда, другие были вполне спокойны, считали, что страшное прошло и их ждет спокойное будущее. Люди перестали понимать друг друга.

К утру перестрелка затихла. Старик-украинец вышел на улицу и вернулся с известием, что немцы уже в городе,¹ после чего отправился что-то делать по хозяйству. Сын Я., молодой парень, и его приятель побежали в город и вскоре принесли несколько ящиков яиц, мешки с мукой, потом ведра с подсолнечным маслом. Затем притащили огромные тюки стеганых фуфаек. Рассказывали, что соседские квартиры, оставшиеся без хозяев, они тоже не пропустили.

Мы ушли в свою квартиру. Не успели опомниться, как с плачем прибежала соседка и стала просить помочь ее мужу, которому немец проколол живот и выпустил внутренности. Оказалось, вина ее мужа в том, что он еврей и просто попался навстречу входящим немцам.

Вдруг в соседнем дворе появились немцы. Раздались крики: «Юде, юде, арбайт!»² Смотрим, выстроили всех и погнали на электростанцию — на работу.

Услышав крики в соседнем дворе, я, потеряв самообладание, бросилась прочь. Бегу огородами; на углу пришлось пересечь большую улицу, смотрю — мчится немец на мотоцикле. Лицо суровое, напряженное. Одет в серый прорезиненный плащ. Остановливаясь в отдалении, даю ему проехать и затем пробегаю к своей сотруднице, украинке, живущей в этом районе.

Приняли меня очень приветливо, постарались успокоить. Помню, как учительница, случайно оказавшаяся там, говорила: «Пусть наши допустили много ошибок, пусть допущены неправды, но это наше, родное, русское, а немец с его организованностью, с его культурой — чужой и ничего, кроме тяжкого горя и страдания, нашему народу не даст. Это враги».

Кто бы мог подумать, что через три месяца эта самая учительница примет пост начальницы гимназии, чтобы воспитывать украинских детей согласно требованиям гитлеровской теории!

Вскоре за мной прибежал муж. Идем обратно. Все кругом тихо, спокойно. На перекрестке стоит средних лет украинец, только что вернувшийся из города, куда он ходил на разведку. Он громко говорит, обращаясь к нескольким женщинам, сто-

¹ Умань была оккупирована 30 июля 1941.

² Евреи, работать! (нем.)

ящим на тротуаре: «Теперь берегитесь, девчата. Пришла ваша пора. Вот хлопцы пришли! Красавцы! Никто из вас не устоит!» Женщины молчат.

Тут я замечаю листовки, уже расклеенные на стенах домов. Читаю: «Украинцы, поздравляем вас с освобождением от жидо-большевистской власти. Гитлер-вызволитель, вызволил вас от ненавистой вам власти». И т.д. Подписал Браухич.¹

Прихожу домой и в каком-то странном оцепенении слоняюсь по квартире.

На другой день к нам во двор входят два пожилых немца. На руках повязки со свастикой. Один из них, черноглазый, спрашивает: «Где живет зубной врач?» Я вынуждена ему объяснить, и он тут же спрашивает по-немецки, евреи ли мы. Получив утвердительный ответ, говорит: «О, юде? Юде капут²». Этот «юде — капут» начинает преследовать меня везде и всюду.

Вскоре в городе появились объявления: что жида обязаны носить в левой руке специальные знаки. На белой материи коричневыми нитками должен быть вышит щит Давида. В других объявлениях говорилось, что жидам нельзя посещать общественные места, увеселительные учреждения, что они не имеют права ходить на базар и покупать продукты и не имеют права отказываться ни от какой работы.

Днем я зашла к соседке, а когда вернулась, узнала, что моего мужа, как он был — в белом халате, схватили во дворе немцы и потащили чистить улицы. Иду его искать, но не главной улицей иду, а низами. По дороге встречаю еврейку, которая в ужасе сообщает, что доктор где-то возле церкви везет тачку с песком. Она возмущается, как это — врача, да еще больного, заставляют чистить улицу.

Под вечер приходит муж. Он угнетен, мрачен. Немцы заставили его подметать и посыпать песком улицы. Евреи, которые тоже были там, стали просить, чтобы пощадили их врача, что он человек больной и что он очень хороший врач. Но это вызвало еще большее озлобление у надсмотрщиков, и один из них чуть не избил его. Вдруг к нам в дом входит украинец, гонец из комиссариата. Спрашивает: «Вы доктор Б.? Немедленно к комиссару!» Муж прощается со мной и уходит. Через полчаса возвращается и показывает бумагу из комиссариата, которая — на немецком языке — гласит: «Дано сие доктору Б. в том, что он специалист, нужный врач. Его нельзя подвергать насилию... Виновные будут наказаны» — и т.д. в таком же роде. Вторая бумажка — охранный

¹ Вальтер фон Браухич (1881 — 1948), генерал-фельдмаршал, главнокомандующий сухопутных войск Германии в 1941 г.

² Еврей? Евреям конец (нем)

на квартиру. Мы в недоумении. На другое утро такие охранные грамоты были выданы каждому врачу и некоторым евреям, занимавшим теперь «ответственные посты».

На другой день приказ — всем регистрироваться по месту службы. Идем боковыми улицами к здравотделу. Мимо немцев проходим с жутким чувством страха. Поднимаемся по лестнице. Народу много. На нас косятся, усмеваются, и редко кто смотрит с сочувствием. Почва уходит у меня из-под ног. Я не иду, я крадусь, не смотрю, а озираюсь. Между людьми очень быстро выросла какая-то неловкость в разговорах, исчезла непринужденность.

Нас регистрирует старый секретарь здравотдела. Перед каждой фамилией обязательно выводит слово «жид».

Медработники-евреи жмутся друг к другу. Все ощущают одно: будущее покрыто мраком неизвестности и, скорее всего, не сулит ничего хорошего.

Обратно идем тоже низами, старательно обходим немцев. Они о чем-то разговаривают, кто-то возится с машиной, кто-то бредет и моется тут же на улицах, на бульварах. Расхаживают в трусах и комнатных туфлях. Любовь к удобству и комфорту не оставляет их и в походе. А жителей города они не стесняются.

Весьма неприятно ведут себя женщины, чьи мужья были репрессированы при советской власти. Некоторые с чувством глубокого удовлетворения подчеркивают, что они теперь «дворяне», что им сейчас почет и уважение. Правда, есть и такие, что сокрушенно молчат.

Немцы очень скоро объявили регистрацию семейств репрессированных. Выделили их в особую группу, стали выдавать им особый паек, дрова. И побежали жены репрессированных регистрироваться, а особенно шустрыми при этом оказались жены обыкновенных воров, бандитов, казнокрадов, скрывшие причину осуждения мужа.

Нередко потом можно было наблюдать жаркие словесные схватки женщин. Одна другой кричала: «Врешь, твой муж осужден за то, что воровал, а не за политику, а ты этим спекулируешь!»

Мой муж получил назначение на работу в поликлинике в качестве терапевта. Меня завгорздравом назначил на малярную станцию. Возглавляла станцию врач — молодая особа с весьма невыразительной внешностью. Никогда в жизни не подумала бы, что это врач: грубо слепленное лицо, тупой нос, локоны-висюльки — свежий перманент. Смотрит на меня как на стену. Там был и фельдшер, испытывающий особо нежную склонность к спирту. Они постоянно о чем-то говорят между собой. Я в стороне. Сижу час, другой...

В конце концов меня начинает тяготить это безделье, и я больше не в силах сидеть с безразличным выражением на лице. Прошу, чтобы мне дали работу. Велели перекладывать ящик с оборудованием. Разглядываю микроскоп, из которого бессовестно изъяты иммерсия¹ и большое увеличение. Все это приписывается врачу-жидовке, что заведовала малярийной станцией раньше, а теперь эвакуировалась. «А кому, как не жиду, заниматься такими делами?» — слышу я. Потом заведующая подходит ко мне и спрашивает мое имя, отчество и фамилию. Вносит в список и тут же пишет: «жидовка». Между прочим, в списке не предусмотрено указание национальности, и национальность записана только рядом с моей фамилией.

Ухожу — чтобы больше никогда туда не возвращаться.

Кое-как добралась домой. Страх, чувство неуверенности все больше и больше заполняют мою душу.

Немцы приказали евреям в количестве пятидесяти человек явиться для образования старостата (имеется в виду юденрат — «еврейский совет» — орган еврейского самоуправления, созданный оккупационными властями — Прим. сост.) Должны были прийти люди, принадлежащие к интеллигенции, и служители религиозного культа. Евреи не явились. Через три дня вышел новый приказ: явиться в количестве двадцати человек. Медработники в это число опять не входили.

На этот раз двадцать человек явились — и в ту же ночь были вывезены и расстреляны под Христиновкой. Женам, пытавшимся узнать об их судьбе, отвечали, что их увезли на работу. Находились украинцы, которые уверяли, что видели их в лесу на работе. Это была ложь.

Через пару дней новое объявление: «Жидам под страхом смертной казни немедленно принести все ценности и золото в комиссариат». Некоторые евреи отнесли кое-какую мелочь: серебряные ложки, монеты. Конечно, никаких расписок им не дали.

Однажды утром я решила пойти в инфекционную больницу, где хирургическим отделением заведовала моя хорошая знакомая. Я знала, что путь до больницы опасен. Добираюсь туда окольными путями, малолюдными улицами. У ворот привратник-еврей, мой старый знакомый по работе в больнице. На лице у него тревога, растерянность. Заведующая встречает меня очень приветливо. Рассказывает, что в ее отделении работает студент 4-го курса Ш., по национальности еврей. С возмущением говорит она, как отвратительно обращаются с Ш. его же товарищи и коллеги, как они преследуют его, буквально отравляют ему жизнь.

¹ Иммерсионная система — оптическая система, в которой пространство между первой линзой и предметом заполнено жидкостью.

Да, зараза проникает во все поры жизни города, всюду начинает открыто вылезать антисемитизм. После работы иду вместе с заведующей в госпиталь для военнопленных, где работают наши врачи. На рукаве моей кофточки белая повязка. На ней вышит знак — щит Давида. Небрежно вешаю кофточку на руку и стараюсь, чтобы мой знак не «выглянул» на свет. Вдвоем мне легче идти по улицам, не так страшно. Я иду спокойнее, боюсь меньше, чем обычно.

Госпиталь для военнопленных — на другом конце города, в 1-й школе. Подходим. На улице женщины, в руках у них корзины с едой. У ворот стоят люди в советской военной форме. В коридорах и классных комнатах на полу лежат вповалку раненые. Грязная солома, перемешанная с экскрементами и какими-то отбросами — вот такая постель у русского воина. Стоны со всех сторон. Вдруг несут носилки. На них молодая, красивая девушка с глазами газели. Это военфельдшер, она тяжело ранена в лопатку и ягодицу. Но она молодец, держит себя хорошо, и только время от времени стон срывается с ее губ. Какой-то австриец, не то фельдшер, не то врач, смотрит на девушку с глубокой жалостью.

По комнатам ходят люди, которые стараются хоть как-то помочь раненым. Кто кормит раненого, кто неумело моет и перевязывает. Страшно смотреть! Сплошные гангрены рук и ног! Синие, набухшие, вот-вот кожа на них лопнет. Лица, искаженные от страшных, нечеловеческих страданий. В перевязочную вводят и вносят раненых. И так непрерывным потоком — с раннего утра до позднего вечера. Днем стали доставлять на носилках пленных с распоротыми животами. Почти каждый день приносили их из лагеря, расположенного на Кооптахе.¹ Вокруг этого лагеря, обнесенного колючей проволокой, целыми днями толклись женщины с корзинами провизии. Они ждали момента, когда можно будет перекинуть несчастным пленным что-нибудь съестное. И нередко, как только пленный подбегал к проволоке и протягивал руку за пищей, стоявший тут же часовой прокалывал ему живот штыком.

Врачи и весь медперсонал работают без перерыва, до изнеможения. Какая-то девушка с оспинками на лице ходит вслед за главврачом и убеждает его допустить ее к работе медсестрой, так как она, по ее выражению, много училась, целых девять месяцев, а ее не допускают к перевязкам. Правда, мне показалось, что на самом деле у нее нет самых элементарных понятий о том, как перевязывать: работа у нее не клеится. В конце концов в перевязочной постарались от нее освободиться.

¹ Железнодорожная станция под Уманью.

Следует заметить, что с приходом немцев многие постарались занять места, которые совсем не соответствовали их образованию. В частности, появилась целая армия «врачей» малограмотных, плохо разбирающихся в медицине. В основном это были фельдшера и недоучившиеся студенты.

По моим наблюдениям, чем меньше разбирался такой «врач нового немецкого времени» во врачебном деле, тем хуже проявлял он себя как человек, тем старательнее нажимал он на национальный вопрос и тем резче отворачивался от вчерашних друзей и знакомых.

...Мне предложили пост сестры-хозяйки, и я согласилась.

В восемь утра мы выходим из дома вместе с мужем — он идет в поликлинику, я — в госпиталь. Спешим выйти пораньше, чтобы не встретить немцев. Д.А¹ с красным крестом на руке и еврейской эмблемой. Он идет быстро, нагнув голову, не оглядываясь. Я еле поспеваю за ним и никак не могу совладать с собой — страх и отчаяние сильнее меня.

На работе только-только начинают собираться. Не оставляет чувство, что мы как мыши в мышеловке. Во время перерыва вижу: в углу о чем-то тихонько разговаривают сотрудники. Подхожу. Рассказывают, что вчера днем по главной улице проезжала телега, полная огурцов. Навстречу из-за угла вышел отряд пленных в сопровождении немца. Немец куда-то отошел, а пленные обступили телегу и стали просить огурцы. Хозяин воза раздал им почти мешок огурцов, они хватали их и тут же, не отходя от телеги, жадно ели. Но вернулся немец, и хозяин стегнул лошадей, пытаясь отъехать в сторону. Однако пленные обступили воз и продолжали хватать огурцы. Тогда немец рассвирепел и стал колотить их палкой. Такие палки, сделанные из какого-то крепкого дерева, толстые, с заостренным концом, были принадлежностью почти каждого надсмотрщика в первое время оккупации. Потом их заменили плетками и резиновыми палками. Так вот, немец стал утолщенной частью палки колотить по спинам и головам пленных, а острием тыкать во всех направлениях. Пленные разбежались. А один несчастный, еле двигавший отяжелевшими ногами, не сумел отскочить вовремя, получил несколько ударов по голове, а острие палки попало ему в глаз, и он тут же замертво свалился на тротуар.

Готовим перевязочный материал, так как идет закладка дезкамеры. Вдруг входит раненный в руку красноармеец, падает на диван и начинает молить о перевязке. Мы просим его потерпеть, так как нет стерильного материала. Санитар, спокойный, медлительный украинец, возится около него. Вдруг

¹ Многие персонажи зашифрованы в книге инициалами. Причина этого до конца не выяснена

больной начинает кричать: «Где мои сапоги, мои новые хромо-вые сапоги?» Озираемся, ищем. Смотрим и не понимаем, куда девались сапоги, которые действительно стояли здесь минут двадцать назад. Санитар тоже как будто в недоумении и ищет по углам. Раненому вдруг становится очень плохо, и он тут же, на наших глазах, умирает. Его выносят. Настроение у всех нас подавленное.

Днем к нам в операционную попадает матрос из Одессы, весь рябой. Ампутация руки. После операции идет на свою койку в соседнюю комнату. И вдруг раздается вопль: «Где мои сапоги?» Опять сапоги исчезли. И так в течение дня то тут, то там крики и плач по внезапно исчезнувшим сапогам. Мы недоумеваем. Кажется диким и странным: кому в такое страшное время нужны сапоги? Не происходит ли что-то странное с нашими ранеными? Может быть, им кажется, может быть, это галлюцинации?

На следующий день наш санитар является на работу позже обычного. Его напарник, калмык, ухмыляясь, рассказывает, что к Федору Ивановичу приехала жена и тот, получив увольнительную, едет домой. Счастливчик, одетый в новый черный костюм, который жена купила ему сегодня на барахолке, с довольным видом, важно ходит по палатам. В 12 часов он исчезает.

А над калмыком стали подтрунивать: дескать, напарник его покинул, и ему надо искать пару — «жену». Он замотал головой и заявил: «Не хочу я такой жена, нехороший товарищ, такой жена мне не нужен». Мы удивились. Вроде сработались, жили дружно. Калмык помолчал, а потом сказал: «Он сапоги у раненых забрал. Вчера передал жене три пары, а сегодня забрал с собой еще две пары».

В аптеке, куда я обычно приходила за материалом, работает пленная. Муж ее — врач, тоже пленный, работает во флигеле. Все эти дни мы довольно часто с ней разговаривали. Сегодня она узнала, что я еврейка, и обдает меня холодом, едва я переступаю порог. Лицо ее окаменело, она скупа на слова, на меня почти не смотрит. Молча ставит требуемое на стол. В дальнейшем я избегала заходить к ней и была очень довольна, когда на ее место назначили другую.

Сегодня нас отпустили домой раньше, так как перевязки закончены. Выхожу вместе с другими — с ними мне спокойнее идти. Выходя на улицу, стараюсь набросить кофточку так, чтобы знак и был, и чтобы не бросался в глаза. Во время этих манипуляций дежурящий во дворе пленный смотрит на меня и замечает повязку. «А-а, так вот ты кто?» — это просто написано на его лице. Опустив голову, прохожу мимо.

Начинают набирать работников для больницы. Нужны специалисты. Директор объявляет, что «спецы-жиды» будут работать без хлеба и без оплаты труда. Но вскоре становится известно, что карточку и какую-то плату евреи получать будут. Меня на работу в больницу берут. Заведует наша бывшая сотрудница. Относится ко мне хорошо и сочувственно, но поражает в ней любовь к распространению разных, ни на чем не основанных слухов. Сегодня, например, она рассказывает, что в осажденном Киеве¹ Советы распяли на крестах всех родственников репрессированных. Я в первую минуту ошарашена, но потом прихожу в себя и говорю: «Кто вам это сказал, где вы это слышали? Подумайте, зачем Советам распинать на крестах? В момент осады, когда нужна забота о защите города, устраивать кресты и распинать людей? Ведь деревья и гвоздей жаль для такой ерунды!» В тот же день я услышала то же самое от другой женщины. Назавтра новое: Молотов (В. М. Молотов — нарком иностранных дел СССР. Прим. сост.) и Ворошилов заодно с немцами, только один Сталин не находится с ними общего языка. В качестве доказательства приводятся такие «факты»: немцы приказали уничтожить портреты Сталина, а портреты Молотова и Ворошилова остались висеть. Это наши, якобы говорят про них немцы. Дальше: будто бы объявили в газетах, что сын Сталина попал в плен с шестидесятитысячным войском² и, очарованный правлением Гитлера, изрыгает проклятия и ненависть по адресу Советов. То же самое и про сына Молотова.³ Потом в газетах объявляют, что Ворошилов арестован, Кузнецов⁴ расстрелян. И новый слух: детей из ФЗУ⁵, которых вывезли якобы в эвакуацию, расстреляли. Приехал человек из Киева, который сам видел, как мальчиков вывели к Днепру и уничтожили. Назавтра опять новость. Профессор Филатов⁶ зверски замучен большевиками, а в Киеве перед отступлением расстрелян профессор Стражеско⁷.

Утром иду на работу. Навстречу — знакомый рабочий с электростанции. Подходит и говорит: «Боже, что наши наделали, когда отступали! В НКВД открыли погреб. Что там делается!»

¹ Киев был оккупирован 19 сентября 1941 года.

² Яков Джугашвили (1907 — 1943) был взят в плен между 16 и 18 июля 1941 г.

³ Вероятно, речь идет о Василии Кокорине, старшине 1-й воздушно-десантной бригады, который в плену выдавал себя за «племянника Молотова».

⁴ Николай Кузнецов (1904 — 1944) — нарком ВМФ.

⁵ Фабрично-заводское училище.

⁶ Вероятно, речь идет о хирурге Антонине Филатове (1902 — 1974), об офтальмологе Владимире Филатове (1875 — 1956) или об эмбриологе Дмитрие Филатове (1876 — 1943). Ни один из них не был репрессирован.

⁷ Профессор Николай Стражеско (1876 — 1952) в этот период работал консультантом эвакуационных госпиталей.

Стоящие неподалеку люди переглядываются в недоумении и большой тревоге. Прихожу на работу. Моя заведующая и другие сотрудники больницы в большом волнении. С огромным возмущением говорят, что на территории НКВД найден цементированный погреб, в котором рядышком, прижавшись один к другому, в сидячем положении расположены трупы людей, замученных советской властью. Прodelали это Советы еще в 1937 г. Здесь нашли свою смерть репрессированные, подлежащие высылке. Все трупы посыпаны известью и еще чем-то посолены. И страшное слово «засоленные» начинает все чаще звучать в людском лексиконе. Всюду и везде — о «засоленных». Большинство клянет Советы. В церкви после богослужения батюшка служил панихиду по убиенным, замученным и «засоленным». Между прочим рассказывают, что некая Д., арестованная перед самым уходом наших неизвестно по какой причине, тоже обнаружена в числе этих несчастных. «Сидит она на лестнице, у входа в погреб, подпершись рукой», — говорит одна женщина, которая бегала туда поглядеть.

Зверства и бесчеловечность большевиков, а главное, жидов — тема для разговоров на всех углах. Чувствуется, что атмосферу тщательно накаляют. Как-то днем, часов в шесть, к нам на квартиру, весь дрожа, забегают старик. Оказалось, ему понадобилось зайти в аптеку за лекарством для больной жены. В аптеке в этот момент находился немецкий офицер. Он избил несчастного, выгнал из аптеки и, выйдя вслед за ним на улицу, продолжал его избивать. Старик еле скрылся в нашем дворе. У нас он передохнул, а потом крадучись, закоулками и задворками, пошел домой.

Утром 21 сентября к нам в большой тревоге стали забегать люди: городом пройти нельзя, с базара гонят, евреям не продают ничего съестного, избивают. Они идут к нам один за другим, и ужас застыл на их лицах. «Только что, — рассказывает одна, — немцы схватили молодого человека, стоявшего возле своего дома, некоего Т., сильно избили, кинули в брочку и куда-то увезли». Пришедшие просят что-то предпринять, чтобы прекратить это издевательство. Когда мы им говорим, что с немцами разговоры бесполезны, что, кроме смерти, от них ждать нечего, смотрят удивленно...

Из соседнего двора прибегают за врачом: старику Я. немцы перебили руки и ноги. За столом у нас сидит молодой Т. с одутловатой физиономией. Он тупо повторяет фразу, сказанную ему немцем, и все просит объяснить, что это может означать. Немец, живущий у него в квартире, недавно второпях сказал ему: «Возьми свою фамилию и уйди в деревню». Немец несколько раз повторил ему эту фразу. «Почему я должен

идти в село со своей фамилией?» — спрашивает Т. Ему объясняют, что фамилия в переводе с немецкого — семья.

Вдруг в страшном волнении вбегают несколько евреек: «Доктор, вы умнее меня, я простая женщина, неужели ничего нельзя придумать, чтобы перестали нас избивать? Может, надо собрать делегацию и пойти к комиссару (гебитскомиссар — должностное лицо, осуществлявшее административные функции на оккупированных Германией территориях — Прим. сост.). Почему вы молчите?» Пришлось сказать, что от комиссара ждать помощи не приходится. Не могу не упомянуть, что вскоре после прихода немцев большинство украинцев на дверях своих квартир мелом или сажей начали рисовать большие кресты. Еврейские квартиры стали резко выделяться на общем фоне.

В 3 часа дня со стороны старого города подошли отряды немцев, стали окружать еврейские дома и выгонять из них несчастных. Нашлись украинцы, взрослые и дети, показывавшие, где ютятся евреи. Один украинец, полный, плотный, хорошо одетый, «командовал парадом», бегал, указывая, в каких домах находятся евреи, и советовал, как их оттуда извлечь. Вдруг появился кто-то в форме немецкого офицера. Бурная деятельность украинца привлекла внимание офицера, и он подозвал того к себе. Подобострастно изогнувшись, украинец подбежал, вопросительно глядя на немца. А тот размахнулся и хлестнул его по толстым щекам — только звон пощечины раздался...

Толпа испуганных, дрожащих и избитых людей становилась все больше. Со всех улиц подгоняли новые партии. Эту толпу разделили на два потока. Один поток повели по Советской улице к трем большим домам, в одном из них размещался Палац пионеров.¹ Несчастных загнали в подвалы, окна которых были заранее наглухо забиты досками и закрыты ставнями. От недостатка воздуха люди очень скоро начали задыхаться. Они выли, визжали, многие сбросили одежду, и наутро их нашли в одних рубахах. Моя знакомая попала туда с матерью, одиннадцатилетней дочкой, с теткой и дядей. Мать ее быстро задохнулась. Ребенка же моя знакомая, как ей казалось, всю ночь держала возле себя, а головка девочки покоилась у нее на коленях. Каков же был ужас и отчаяние молодой матери, когда утром она обнаружила, что у нее коленях покоится чья-то мертвая голова, а ее ребенок затоптан. Выжили совсем немногие, только те, у кого сердце было покрепче и кто случайно оказался около оконной щели или двери и мог дышать более свежим воздухом.

Второй поток направили через Большую Фонтанную улицу к тюрьме. Евреи шли, гонимые конвоем из немцев и по-

¹ Здесь: Дворец пионеров.

лицаев. Полицаи улюлюкали, кричали, смеялись и били несчастных по ногам и спине. Иные из евреев пытались скрыться в толпе людей, стоявших на тротуарах и наблюдавших за жутким зрелищем. Подчас это было очень трудно, так как находились «услужливые люди», толкавшие их обратно; других же знакомые украинцы хватили за одежду и показывали, как можно бежать отсюда, но евреи шли, как замороженные, будто утратив сознание.

Во дворе тюрьмы их заставили раздеться и приказали петь и плясать. И они плясали и пели... из «Колнидре».¹ Многие падали в обморок, их обливали водой, били, и они снова пели и танцевали. А немцы, в том числе шикарно одетая женщина с букетом цветов в руках, стояли на вышке, смотрели вниз, и страшное это зрелище явно доставляло удовольствие «цивилизованным» гитлеровским чудовищам. Вспышки магия, треск леек, свист кнута и нагайки, страшное пение и безумная пляска — этот ужас длился до одиннадцати часов вечера. Вдруг из гестапо прибыл гонец с приказом прекратить «кино». Наутро женщин выпустили, а всех мужчин расстреляли.

Однажды я в сопровождении домработницы пришла к знакомым по неотложному делу. Как только захлопнулась калитка, я услышала шум, доносившийся с улицы. Через щель в заборе увидела: немец жестоко избивает женщину. Поравнявшись с домом напротив, она поднимается по ступенькам и пытается открыть дверь. Но немец сбрасывает ее со ступенек, она падает, он опять бьет ее и приказывает подняться. Она поднимается, спотыкается и идет дальше. Еще несколько минут — и я вижу: движется огромная толпа людей, которых гонят немцы. Моя работница просит меня отойти от забора, чтобы нас не заметили. А сама идет узнать, в чем дело. Через несколько минут возвращается — бледно-зеленая, дрожащая. «Ой, що я бачила»² — только и сумела выдать она из себя.

Оказалось, один из немцев сидел в саду и читал газету. Вдруг он почувствовал запах тления. Подошел к клумбе, толкнул какой-то камень и обнаружил углубление. Это была цементированная яма. Опять «засоленные». Туда и стали полицаи сгонять евреев, их били, бросали в зловонную яму и кричали им: «Це вы, погань, наробылы, це ваша влада».³ Евреев обвиняли во всем: в репрессиях, неудачах, словом, во всех грехах и во всех бедах. Очевидцы рассказывали, что возле ямы сидели две женщины из Львова, щипцами вытаскивали из карманов замученных документы и тут же громко чита-

¹ Правильно: Кол нидрей (Все обеты) — молитва, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом-Кипур.

² Ой, что я видела (укр.).

³ Это вы, дрянь, наделали, это ваша власть (укр.).

ли, откуда были несчастные: оказалось, из Львова, из Латвии, Эстонии, Литвы. «Так вот что делали ваши в присоединенных местностях! Мучили и солили! Это все подлые жида!» — слышались крики.

Когда после всего этого кошмара люди стали расходиться, я вышла со двора, влилась в толпу и пошла домой. С удивлением обнаружила, что на улице царило странное оживление, будто все возвращались из театра.

Вот и мой двор. Распахнув двери своей квартиры, я увидела бледные, испуганные лица моих родных. А случилось вот что: мать моя чуть не попала под общую расправу. Она вышла во двор вслед за нами, чтобы посмотреть, как я буду переходить улицу, и, по-видимому, замешкалась. Вдруг во двор зашли немец с полицаями. «Ты кто, жидовка?» — спросил ее полицаи. «Да, жидовка», — ответила мама. «Идем», — потянул ее полицаи. Но здесь произошло необычайное. Немец посмотрел на нее, на ее фигуру в черном платье с белым воротничком, на седые волосы, аккуратно собранные в узел, и, взглянув в ее серые глаза, с тревогой и удивлением поднятые на него, сказал по-немецки: «Нет, нет, не надо, эти седые волосы... нет, не надо», — и они ушли. А мать пошла домой.

У нас в доме повисла тяжелая тишина. Все сидели молча, будто застыли. Молчал старый И.Е. 83-х лет, он сидел, уставившись в одну точку. Тут же сидела моя мать, низко опустив свою седую голову, рядом с ней мой муж и старая соседка-учительница, случайно зашедшая к нам. Утром мои коллеги зашли узнать, живы ли мы. От них мы услышали, что квартал, где в подвалах Палаца пионеров погибли люди, оцеплен. Туда никого не подпускали. Люди, проходившие ранним утром мимо, видели, что двери и окна раскрыты настежь. Перед изумленными, ничего уже не понимавшими людьми предстали горы трупов. А среди трупов, сваленных в высокую кучу высотой почти в человеческий рост, стоял еврей, старик ста пяти лет, который в день сталинской конституции плясал в этом самом палаце. Он стоял молча, глядя на все это остановившимися пустыми глазами.

Возле тротуара стояла подвода, доверху нагруженная мертвыми телами. Лошади не могли двинуться с места, полицаи и возница пытались и не могли обнаружить причину. Оказалось, в спицы колеса попала ручка мальчика лет девяти и тормозила движение.

Какая-то женщина, шедшая по тротуару, вдруг осознала, что здесь произошло, и истерически закричала. Ее оттащили в сторону знакомые украинцы, они руками закрывали ей рот и шикали на нее. Полицаи стали всех разгонять, оцепили улицу и целый день возами вывозили трупы.

Оставшихся в живых, без одежды, без обуви, выволокли из подвала и отправили в тюрьму. Они были уверены, что их ждет вторая казнь. Но некоторым повезло — ведь у немцев все «хорошо организовано»: ямы оказались переполненными, и женщин выпустили. А мужчин оставили. И больше их никто не видел.

В этот раз погибло около 1500 человек.

Вечером к нам в дом прибежали дети доктора Г. и их соседка С. Они были среди тех, кому «повезло», кто остался в живых после того, как прошли они смертный путь до Палаца пионеров и провели в ужасных мучениях ночь в подвале, где погибла вместе с бабушкой маленькая правнучка доктора Г., прелестная Тая, дочь его внучки и украинца. И это ее голову всю ночь держала на коленях мать другой девочки, думая, что это головка ее дочери.

Чтобы оправдать перед населением уничтожение мирных граждан, пустили слух, что еврей-коммунист застрелил якобы немецкого офицера и в наказание немцы ответили на это погромом. Это, конечно, была ложь. У нас в больнице, в канцелярии, сидела санитарка П., известная проститутка, и рассказывала, что сама видела, как по Садовой улице из двора вышел немец, за ним еврей. Вдруг еврей выхватил револьвер и выстрелил немцу в спину. Такую же версию распространял директор больницы. Эти рассказы были слишком грубо состряпаны и нельзя было не удивляться людской доверчивости. Все соглашались, что так и было, и принимали бессвязный рассказ проститутки безоговорочно, как бесспорную истину.

На следующий день после первого массового истребления евреев мои сотрудницы зашли за мной, и с ними я ушла в больницу. С тех пор товарищи, без какого-либо намека с моей стороны, стали регулярно провожать меня на работу и с работы, так как дорога в больницу была для еврейки небезопасна. Захожу в лабораторию и стараюсь оттуда не вылезать. А по отделениям ходит моя заведующая. Работы мало, много времени остается на раздумья. А мысли мои очень печальные.

Как-то раз получаю из дому записку с просьбой остаться на ночь в больнице, так как в городе опять тревожно. С большими предосторожностями заведующая лабораторией оставила меня и заперла на ключ. И я старалась ничем не выдать своего присутствия, так как в соседней комнате служащим выдавали хлеб. А ведал этим делом молодой украинец с неприятным лицом и наглым взглядом черных глаз.

Через несколько дней после того, как немцы заняли Умань, было объявлено, что биржа труда требует всех на регистрацию. Евреям назначили день и Д.А. приказали явиться вместе со всеми.

Часа в два Д.А. пришел домой в страшном волнении. Оказалось, немцы жестоко всех избили. И тех, кто плохо одет, и тех, у кого повязка на руке не свежеевыстирана, а кого-то и просто так, без явного повода. Избивали страшно. Кто-то падал с разбитой головой. Кто-то уходил, еле волоча ноги.

А вскоре поступил новый приказ от начальника биржи труда Беккера: принести скатерти, вилки и ложки, ведра и миски, часы, стенные и ручные, будильники; кроме того, денег 5000 рублей. Причем требовали, чтобы вещи доставлялись как можно осторожнее и чтобы никто ничего не увидел и не узнал. Из Гебитскомиссариата тоже приказ: принести чай, мыло, бинты, лампы. Так каждый день появлялся новый налог. Люди совсем извелись.

После 21 сентября последовал строжайший приказ: всем евреям переселиться в гетто. В старом городе отвели для гетто несколько улиц и всем велели перебраться туда. Домов на этих улицах было мало, евреев — значительно больше, и начались муки, связанные с переездом и обустройством.

По городу потянулись люди с узелками, повозки с рухлядью — все в определенное место. К тому же последовал строжайший приказ: не брать с собой дорогой мебели, а только самое необходимое. После первого побоища город резко изменил свое лицо. Обычно евреи селились на центральных улицах и в ближайших к ним районах. После того как часть евреев погибла (а большинство из них были жителями центра), содержимое их домов было разграблено, лучшая мебель унесена, по дворам стали валяться детские кровати, обломки больших кроватей, кухонные принадлежности; двери были сиротливо раскрыты, окна хлопали под ветром. У дверей иных домов можно было увидеть какую-нибудь полубезумную старуху — с непокрытой головой, с растрепанными седыми волосами. По подоконникам оставленных домов бегали кошки, громко мяукая и задравши хвост трубой. Откуда взялось столько старух и как они уцелели — трудно объяснить. Кто-то уносил двери и выламывал оконные рамы, из окон исчезали стекла. Затем дома стали разбирать на топливо, а железо и кирпичи куда-то свозили. И там, где еще недавно жили и мыслили люди, где слышен был детский смех, летом вырос бурьян, густой и высокий.

Врачей временно оставили в их квартирах и в гетто пока не переселяли. В еврейскую общину из полиции пришел приказ, чтобы к 7 октября все евреи, кроме врачей, переселились в гетто. Улицы опустели, а гетто наполнилось людьми, как река в половодье.

Утром 7 октября мы, как обычно перед уходом на работу, собрались завтракать. К нам вбежали две взволнованные жен-

щины, наши знакомые. Они рассказали, что на рассвете к ним прибежала жена одного полицая и предупредила своих приятелей С., что на завтра готовится новый погром евреев и посоветовала С. уйти всей семьей к своим украинским друзьям. Но ведь только накануне начальник полиции вызвал представителей старостата (юденрата) общины, вторично приказал им под личную ответственность переселить всех евреев в гетто и велел передать евреям, что, согласно новому приказу, никаких эксцессов больше не будет.

Гетто сильно заволновалось, однако, к сожалению, не нашлось никого, кто бы посоветовал, как быть, что предпринять. Днем к старику Г. пришла хорошая знакомая — специально, чтобы успокоить его: якобы секретарь полиции заверил, что с 8-го все наладится и нет никаких оснований для паники. Вечером из гетто к нам пришла сестра моего мужа. Она была неузнаваема, на лице печать страдания и бесконечного отчаяния. «Говорят, что завтра будет ужас. Куда деваться, что делать? Я домой не пойду, я не хочу погибнуть, я хочу увидеть моих сыновей», — твердила она. Ее отчаяние было так велико, что я не нашла слов и молча слушала ее. В голове только мелькнула мысль: до чего же дошла эта добродетельная жена и преданная мать, если она оставила в гетто мужа и шестинедельную внучку, из-за которой сама застряла, не выехала вовремя. А теперь прибежала к нам, где ей кажется безопаснее, и не хочет идти домой. Я говорю ей: «Останьтесь здесь, если хотите и если вам так будет спокойнее. Что будет с нами, то будет и с вами». В этот момент входит какая-то еврейка: ей нужно было к врачу по делу. Я спрашиваю ее, что слышно в гетто. Она рассказывает: утром пронесся слух, что завтра ожидается страшный погром. Но сейчас все вроде бы успокоилось. Я взглянула на сестру мужа. Ей стало будто немного спокойнее, морщины на ее лице разгладились, она глубоко вздохнула, поднялась и пошла домой, в гетто. Больше я ее не видела.

8 октября. Собираемся на работу. Вваливается домработница соседки. Та прислала ее узнать, что мы собираемся делать, идет ли муж на работу, — дело в том, что евреев из гетто толпами ведут в тюрьму. Выхожу на крыльцо и вижу толпу, гонимую конвоем. В глаза бросаются яркая, противоестественная бледность и желтизна лиц и повязки на сложенных на груди руках. Поражает страшная тишина. Ни крика, ни стона. Идут к тюрьме молча.

И так целый день, до самого вечера, гнали толпы людей. Шли пленные, евреи с желтыми знаками на спине и груди, шли девушки-комсомолки — они пели комсомольские песни. Остальные шли молча. В тюрьму забирали и стариков. Не-

которые партии двигались, неся на руках больных, разбитых параличом, изувеченных немцами — всех тех, кто не в состоянии был передвигать ноги и самостоятельно идти на казнь. К тюрьме прибежал молодой украинец Г.М. (кстати, получивший при советской власти высшее образование) и сообщил, что в инфекционной больнице много жидов. Туда были посланы полицаи, и евреев вывели. Лекпом¹, проработавшая многие годы в этой больнице, подверглась той же участи. Когда ее вели, она увидела на тротуаре знакомых студенток медшколы, с которыми еще недавно проводила практические занятия, и бросилась к ним, плача и умоляя спасти ее. Она оставляла двоих детей. Полицай прикладом согнал ее с тротуара, а побледневшим девушкам-украинкам, со слезами на глазах глядевшим на эту сцену, крикнул: «Что, жаль подружку?»

В тюрьме специальная комиссия подвергала всех тщательному обыску, а затем партиями отправляла на грузовике к Сухому Яру.² Там была вырыта огромная братская могила. Еще задолго до этого дня приходили крестьяне с той стороны и утешали евреев: «Не плачте, воны скоро втечуть. Там коло Сухого Яру копають великы окопы, це Червона Армия швидко прыйде».³

Эти окопы стали могилой для мирных граждан. Одна девочка, сумевшая как-то убежать, и другие очевидцы рассказывали, что обреченные сходили по ступенькам вниз, в могилу, где им приказывали улечься тесно рядом и давали по ним пулеметную очередь. Часто ставили на колени и расстреливали в затылок. И тут как кому попадало: кого пуля только ранила, и он попадал в могилу полуживым, а кого и насмерть убивала. По рассказам, там три дня колыхалась земля. Немцы стреляли из пулеметов, автоматов и с самолета. Один немец, пуская очередь из пулемета, тут же другой рукой запикивал в рот еду. Он, видите ли, очень устал «от работы» и целый день ничего не ел.

Возвратившись с крыльца в дом, я рассказала домашним о том, что видела, немедленно разбудила свою несчастную старушку мать, которая к утру крепко заснула. «Что, что такое, уже опять новости?» — спохватывается моя бедная мама и через миг, одетая, стоит возле меня. Смотрю, сразу стала она маленькой, и страшная желтизна заливает ее лицо. Мы решаем никуда не уходить, так как старики будут без нас совсем беспомощны, а мой муж, благодаря своим документам, спасшим его в первый раз, и сегодня как-нибудь отбоярится.

¹ Помощник лекаря.

² Урочище под Уманью.

³ Не плачьте, они скоро убегут. Там, около Сухого Яра копают большие окопы. Красная армия быстро придет (укр.).

Стоим молча. Мать держит молитвенник, с которым никогда не расставалась, и собирается молиться. Так, с молитвенником, ее вскоре и забрали...

Вдруг входит сотрудница из больницы, которая каждый день заходит за мной по дороге на работу. Мои родные советуют идти, и я, не отдавая себе отчета, машинально иду, как обычно. На улицах пустынно. Знакомая украинка смотрит на меня с гримасой не то боли, не то грусти и удивления. Моя спутница беспрерывно курит и приговаривает: «Еврейки не курят», — считая, что этим она ограждает нас от опасности. На углу встречаем молодого еврея, по виду рабочего. Моя спутница говорит ему: «Не ходите в город, там беспокойно». Но он идет дальше — то ли не понял, то ли не расслышал. Моя спутница настаивает на том, чтобы я по-еврейски сказала ему, что в город идти опасно. Я тихонько ему говорю об этом. Оказывается, ему все известно. В этот момент подъезжает бричка, на ней Юрий Недзельский, «украинский деятель немецкого покроя». Когда пришли немцы, он на страницах местной газеты разразился хвалебными стихами в честь Гитлера. Все возмутились: он переделал и посвятил Гитлеру стихотворение, напечатанное незадолго до войны в честь Сталина. Так вот, этот субъект немедленно останавливает возницу и что-то говорит молодому еврею. Тот вынимает документы и показывает. Оказывается, он сын еврея и матери-украинки. Тогда такие документы еще спасали положение: «полуюд» пока имел право жить. Пока...

По дороге встречаю нашего гинеколога В., которая тоже спешит в больницу. Она живет далеко от центра и ничего не знает о страшных событиях. Говорит: «Ну, что? Говорили, сегодня будет беспокойно. А на самом деле ничего нет. Ах, эта паника!» Я сообщаю ей, что в городе плохо, евреев ведут в тюрьму. Она бледнеет и резко поворачивает домой.

В лабораторию вхожу с тяжелым чувством — в душе смятение. Что делать? Бежать домой, забрать своих сюда? Но как провести их через город? Может, послать за ними санитарку? С ней им будет легче пробраться. Вдруг санитарка входит в лабораторию, опускается как-то с размаху на диван, странно тербит туфлю, багровеет и смотрит на меня. С ее губ срывается: «К.М., выйдите отсюда, идите во двор». Я смотрю на нее, ничего не понимая. «Выйдите, за вами пришли. Во дворе забирают всех евреев». Я схватила платок и через аптеку — на черный ход. Остановилась у двери, заперла ее на крючок. Во двор не иду: выйти во двор — значит, оказаться на виду у всех. Стою и думаю: неправильно сделала, что ушла от своих. Там, конечно, спокойнее. У них охранные грамоты, да и вообще с ними лучше. И если суждено погибнуть, то всем

вместе. Слышу, громко бухает парадная дверь, тяжелые шаги направляются в канцелярию, и хрипый лающий голос чего-то спрашивает. «Нет, нет», — слышу ответ сотрудницы, моей покровительницы. Затем хлопает дверь аптеки, и я отчетливо слышу: «Жидов у вас — нет?» — «Нет, нет», — торопливо отвечает работник аптеки, симпатичная К.

Через некоторое время иду в лабораторию. Здесь сидят два парня и ждут лаборантку. Один из них всматривается в меня. Через окно вижу, как из больницы выводят евреев. Вижу жен, которые пришли навестить своих мужей, скрывающихся тут, и попали в ловушку вместе с ними. Идут, опустив головы, положив руку на руку. Резко выделяется знак, вышитый на белом полотне.

В лаборатории ко мне обращается молодой человек, украинец. Сильно взволнован, подает записку от врача: срочно сделать анализ его жене. Больная находится дома, дом — недалеко от тюрьмы. Обещая ему все выполнить, как только придет заведующая. Вдруг пришедший говорит: «Что делают возле нас с евреями — страшно рассказать. Там все время строчат автоматы и пулеметы с аэроплана». Я молчу, меня охватывает странное оцепенение. Вскоре приходит заведующая и говорит, что встретила мою работницу и что дома у меня все спокойно. Часам к двенадцати врывается в волнении регистратор из поликлиники. Только что из дома забрали лекпома М.М. с шестилетним ребенком. Поэтому сотрудники поликлиники послали узнать, что слышно у нас. Зайдя к нам в квартиру, она узнала, что час тому назад в сопровождении немца пришли два украинских полица и забрали старика Г. с дочерью, мою мать и моего мужа. Внучку доктора Г., у которой была бумага, что она жена инженера-украинца, оставили. Помню, как прошла по мне сильная волна и ударила в голову. Затем я повернулась и молча вошла в лабораторию, где стоял в ожидании анализа утренний посетитель. Консилиум врачей ждал у него дома результата анализа. Как в тумане, подошла я к столу, закончила анализ, подписалась, чего обычно не делала, и отпустила человека. Меня постепенно охватывало оцепенение. Где-то в глубине жила и шевелилась мысль, но чрезвычайно медленно. Вдруг вошла моя заведующая. С криком «Спасите их!» я бросилась к ней.

Через несколько минут вошел директор, за ним делопроизводительница и санитарка. Директор стал рассказывать, как пришли за евреями в больницу, а он как раз выходил из ворот. На вопрос, имеются ли в больнице жиды, ответил утвердительно и повел прямо на черный ход. А навстречу им, как «заяц на охотника» (точно его выражение), выскочил несчастный еврей. Их всех оттуда и забрали. Мне он велел немедленно уйти

из больницы, так как оставаться здесь больше нельзя. Опекавшая меня А.И. Щ-а немедленно оделась, предложила сотруднице аптеки пойти вместе с ней, чтобы проводить меня домой. Заведующая аптекой пошла, но все время держалась от нас на некоторой дистанции и тянула за собой свою помощницу, что возмущало А.И. Щ-у. Сопровождать еврейку в такой момент для нее было вовсе не безопасно. Встречные украинцы смотрели на нас с любопытством. На улице довольно оживленно. Кажется, только что провели толпу несчастных.

Так я прошла к своему дому. Провожающие ушли. У ворот меня ждет работница. Я иду вслед за ней во двор. Открываю дверь. Вхожу. В доме царит жуткая, какая-то звенящая пустота. Прохожу по всем комнатам — никого. Ощущение страшное, непередаваемое. Пустота свистит, звенит... Вхожу в кабинет мужа. Все на месте, только его нет. На письменном столе в ряд стоят его стетоскопы. Хватаю один из них, опускаю в карман и не разжимая руки, быстро иду прочь из квартиры. Направляюсь к зубному врачу Р. — просить, чтобы помогли, чтобы подсказали, куда идти хлопотать. Оказывается, и за ними приходили, но немец, тоже зубной врач, поселившийся и работающий у них в кабинете, выгнал полицейских и тем их спас. У них и сейчас сидят два немца — на тот случай, если опять придут полицейские. На мои мольбы пойти со мной просить об освобождении моих родных Р. отвечают категорическим отказом и стараются меня удержать, уверяя, что все напрасно. В этот момент приходит внучка доктора Г. (ее случайно не забрали) и рассказывает, что пыталась хлопотать, но все учреждения закрыты, а к комиссару доступа нет. В этом она убедилась сама. Немцы говорят, что хлопотать бесполезно, что в тюрьме «работает» комиссия по отбору специалистов и кого следует — сама оставит. Ухожу в другую комнату — от людей, от их взглядов — и молча мечусь из угла в угол. Когда не в силах больше сдерживать себя, могу только изредка заломить руки или приложиться лбом к холодной стене. Ни один звук не должен слететь с моих губ: я не у себя дома, и в соседней комнате немцы.

Так провожу я остаток дня, того страшного дня, когда мои родные и близкие приняли мученическую смерть. Дней через десять я вынуждена была вернуться в свою квартиру. Дошла до кухни и остановилась на пороге. Вот в этой кухне, которая расположена в глубине квартиры, с окном, выходящим к высокому забору, мы проводили последние вечера. Здесь мы сидели молча, почти не разговаривая, уйдя мыслями в прошлое... и сейчас никого! Никого из них нет! За что? Что случилось? Как это может быть!? Я припала лицом к косяку двери и зарыдала. Я не плакала, я кричала каким-то страшным,

истощным голосом: «Вот здесь они сидели, вот здесь они были, живые, целые, невредимые! Так где же они? Пашенька, где же они?» Она стояла, молча глядя на меня, а потом белки ее глаз стали кроваво-красными, она припала ко мне, стала хватать за руки и уговаривать: «Ну, буде, ну, буде вже, ничего не зробіте».¹ Накричавшись вдоволь, дав выход какой-то странной, необычной энергии, я села на диванчик и задумалась.

Наутро прибежал доктор Б., жалкий и несчастный. Он тоже был затянут в тюрьму. Но выдал себя за караима (тюркоязычная народность, исповедующая ветхозаветный иудаизм — Прим. сост.) причем представил свой диплом, в котором другими чернилами приписал себе новую национальность. Он, как позже стало известно, в тюрьме сунул кому-то золотые часы, и его с семьей выпустили на свободу. Днем стали говорить, что людей выпускают из тюрьмы. Мы стояли у бокового окна и осторожно из-под занавески смотрели: может, покажется кто-нибудь из близких? Но тщетно! Через некоторое время прошли торопливым шагом несколько изможденных фигур со знакомыми нашивками. И на этот раз, по немецкому правилу, когда яма переполнялась, остальным предоставляли возможность надеяться, что они будут жить. Следует упомянуть, что после каждого организованного уничтожения людей в особые склады и в магазин случайных вещей свозились груды белья, платья, обуви и платков. Даже белье грудных детей, тщательно заштопанное и постиранное. Находились люди, становившиеся в очередь, чтобы по невысоким ценам купить кое-что из этой одежды.

Продолжаю жить у Р., потому что нет сил вернуться к себе домой. Узнаю через домработницу, что бургомистр города, бывший воспитатель моей дочери в школе, как только стало известно о гибели моего мужа, на другой же день приехал в наш дом, обошел все комнаты, выразил удивление, почему в шкафах так мало вещей, запер все комнаты на ключ и ушел, а ключ отдал управдому. Чтобы получить вещи, я должна была явиться к пану бургомистру и, отказавшись от дорогой мебели, получила право на вывоз самого необходимого.

Тогда я и задумала отправиться в путь. Но куда? Вот вопрос... Решила, жизнь покажет. Моя знакомая, отзывчивая Г.П., помогавшая всем, кому нужно было вырваться из лап немцев, обещала достать мне документ из лагеря военнопленных. Я решила идти как военнопленная, надо было только получить удостоверение, что я украинка. Но затея эта сорвалась. Вскоре какую-то еврейку поймали недалеко в лесу и сильно избили. Мои друзья удержали меня от путешествия без соответствующ-

¹ Ну, будет, ну, будет уже, ничего не сделаете (укр.).

щих документов. После 8 октября вдруг выяснилось, что еврейки — жены украинцев имеют право на существование. Украинские женщины из предместья начали приходить к знакомым евреям и предлагать своих сыновей в зятья, рассчитывая, как правило, на богатое приданое. Один украинский инженер «женился» на молоденькой еврейской девушке, через шесть дней выгнал ее, а вещи оставил у себя. У одной еврейки на руках осталась молоденькая невестка с маленьким ребенком. Муж был убит, сын — на фронте. А они, после многих неудачных попыток эвакуироваться, дождались немцев. Уцелев после первых двух погромов, свекровь решила спасти невестку и внучку. Долго искала подходящую кандидатуру. Наконец нашелся молодой техник, хромой; невестка согласилась пойти на такой компромисс. А девочка осталась у бабушки. И стал новый муж расхаживать в новой шубе, оставшейся от убитого тестя. Невестка спасена, но как спасти внучку? И записали ее на имя работницы, жившей у них, а какой-то украинец согласился на роль фиктивного отца. Бабушка платила домработнице приличные деньги. Все шло хорошо, пока бабушка не попала в лагерь. После этого работница, которая перестала получать деньги, начала тяготиться ребенком. Привезла девочку в село к ее матери, сбежавшей от людей, и разболтала ее историю. В конце концов мать, девочку и еще одного ребенка, которого та прижила с новым мужем, хромым техником, — расстреляли.

В один из этих тягостных, мучительных дней пришел доктор Б. и объявил, что можно креститься. Сказал, что сам он уже договорился и будет креститься с женой и детьми. Получится совсем хорошо: православные из караимов, говорил он. Старик-священник получил у комиссара разрешение крестить народ, но комиссар при этом сказал, что судьбу евреев это не изменит. Однако желающие нашлись. Священник крестил с утра. Коридор у батюшки был набит людьми. Люди из Винницы спешили вернуться домой, и одна женщина торопила батюшку: «Отец-батюшка, мы спешим». В это время с шумом вваливается врач Р. с семьей и двумя немцами. После того как их спас от погрома немецкий врач, они щедро одаривали и содержали и этого врача, и еще двух немцев и везде ходили только с ними, надеясь избежать страшной участи. Придя к священнику, они стали настаивать, чтобы их крестили вне очереди. Публика запротестовала. Немцы разозлились — и всех разогнали.

Через некоторое время крестившихся евреев снова стали преследовать. Тогда батюшка, протестуя против неоправданной жестокости, написал на имя комиссара петицию, в которой ссылаясь на святое писание. В результате наивного и честного священника немцы арестовали и расстреляли.

...Почти все евреи живут в гетто. Спецы держатся в городе. Выхожу на работу рано, чуть свет, чтобы было поменьше встреч. Боюсь встретить немцев, дворников, некоторых знакомых и незнакомых. Пользуясь тем, что стоят морозы, иду закутавшись. Редкие встречные смотрят пристально, стараясь угадать, кто идет. На лицах удивление, иногда любопытство, жалость, а иногда усмешка и злоба. Чувствую, как страх пронизывает все мое тело, он меня душит, и я становлюсь все меньше и меньше. Прихожу на работу, сижу, как в норе. Однажды пришлось зайти в гинекологическое отделение за кровью. Туда повадился молодой врач-немец, чрезвычайно удивленный тем, что у нас ответственные посты занимают женщины. Немцы смеялись и говорили, глядя на заведующую: «Шеф, фрау — шеф?» Но постепенно он начал чувствовать превосходство по отношению к шефу-женщине.

Вхожу я в это отделение и не успеваю выйти из дежурной комнаты, как отворяется дверь и входят зав. отделением и рослый детина с тупым лицом. Глянув бегло в мою сторону, он хмурится и не здоровается. На столе много ценных реактивов и препаратов, чрезвычайно нужных и редких. Заведующая старается его отвлечь, подсовывает ему бутылочки с реактивами. Но этот тупоумный субъект берет в руки бутылочку, выходит в коридор и спрашивает: «Эта фрау — юде?» — «Нет, — спешит уверить его заведующая, — чистейшая украинка». Он тут же возвращается, говорит «гутен морген», и лицо его расплывается в улыбке.

Как-то входит в лабораторию новый директор, высокий худощавый украинец с хитрыми глазками. Он разговаривает с заведующей и вспоминает старое время, царя и какая хорошая была тогда жизнь — дешевая, вольная, сытная, никаких тебе НКВД... Недаром, когда царя сбросили, один знакомый старый еврей говорил, что евреи будут еще плакать и жалеть, что нет царя. Во всем виновата молодежь, которая хотела свободы. Вспомнил он также, как заключал контракты в Нижнем Новгороде, вспомнил грандиозные размеры этой ярмарки, рестораны: возьмешь, бывало, отдельный кабинет — вино, водка, закуски — столы ломаются. Войдет шансоньетка, сядет к тебе на колени... Вот была жизнь! И вдруг все перевернулось, пришла революция — и все! Где-то он достал книгу «Майн кампф», прочитал и был ею очень доволен. «Вот это книга», — говорил он. С тем, что, по мнению Гитлера, евреи, цыгане, поляки не люди и подлежат уничтожению, он соглашался легко, но что украинцы — только рабочая сила... согласиться с этим ему было трудно.

Однажды появились два немца и с ними переводчица — новый лекпом из Львова. Один из немцев, откормлен-

ный, с холеным лицом, с жестким взглядом серо-голубых глаз, расспрашивал заведующую (она отвечала ему по-немецки), в чем состоит работа нашей лаборатории. Выйдя из лаборатории, он вдруг сказал: «Только что этим револьвером застрелил одиннадцать человек. Слушали радио. Револьвер еще теплый».

В этот день к нам в лабораторию зашел один врач, попавший в окружение, но чудом избежавший плена. Он рассказал о недовольстве, которое начинает возникать в среде украинской интеллигенции. По его словам, многие говорят: «Нет, пусть Советы, с ними лучше, но только без НКВД». Помню, я не выдержала и обратилась к нему: «А.Н., что случилось, объясните, неужели выдохлась русская земля? Где наши Щорсы, где Чапаевы¹?» Его лицо стало грустным. «Сейчас украинский народ молчит. Украинцы одурманены. Проснутся, но когда?» А вот немец с жестоким лицом, с револьвером, еще теплым от расстрелов, невольно принес нам весть, что где-то начинают тлеть искры пожара. Что не все потеряно... что народ начинает просыпаться.

В городе появилось много разрушенных семей: муж без жены и детей, дети без родителей. Дети бродили по улицам, просили усыновить их. «Обломки» собирались вместе и получалось подобие семьи — до нового шквала. Как-то на работу приходит молодая санитарка Аня. Выглядит чем-то сильно расстроенной. Настораживаюсь, жду. Оказывается, недалеко от них жил мальчик-еврей. Семью убили при первом погроме. Остался пятнадцатилетний Шая. Его приютила семья товарища-украинца. Мать друга относилась к нему хорошо. И он у них прижился. Как-то пошли они с другом в город. Навстречу шел немец, он искал аптеку. Никто не мог понять, что ему нужно. Подошел мальчик Шая и объяснил ему, где аптека. Тот вперил в Шаю взгляд и спросил: «Юде?» Мальчик испугался и бросился бежать, немец вдогонку выстрелил. Так и повис Шая на заборе. «Вот и нет нашего Шаи», — сказала Аня, и слезы потекли по ее щекам.

Сегодня воскресенье. В городе большое волнение. В газете красуется объявление: «В воскресенье в центре города состоится публичная казнь через повешение троих — жидовки Я., полужидовки Т. и военнопленного С. Обвиняются в агитации против отправки на работу в Германию». На самом деле все было не так. Первая, Я., — еврейка, была замужем за галичанином. В 1937 году ее муж был репрессирован, и она через некоторое время завела роман с известным бухгалтером Х. Появились, как обычно, ее сторонники и противники. А

¹ Николай Щорс (1895 — 1919), Василий Чапаев (1887 — 1919) — командиры Красной Армии, герои Гражданской войны.

когда пришли немцы, украинские дамы решили свести с Я. счеты. В ее дом привела немцев Люся Дудко (бывшая комсомолка) и во время первого погрома 21 сентября затащила Я. в знаменитый подвал. С большим трудом, ночью, ее разыскали и выпустили друзья семьи. Когда стало известно, что Я. жива, украинские интеллигентки донесли, что она работник НКВД. Когда Я. арестовали, то приговорили к казни через повешение. Вторая — украинка, была замужем за евреем-парикмахером. Недалеко от нее жил сосед, которому приглянулся ее домик. И он донес на нее в полицию. Третьим был пленный еврей, которого собирались повесить для пущего эффекта.

В назначенный воскресный день центральные улицы были так запружены народом, что яблоку негде было упасть. Стояли на балконах, крышах домов, сидели на деревьях, висели на столбах. В 12 часов привели из полиции обреченных. Женщины держали себя очень достойно. Я. даже не взглянула на толпу. Она решительным движением растянула ворот шерстяного свитера, сама всунула голову в петлю и потянулась вниз, чтобы ускорить свой конец. Вторая женщина тоже была очень выдержанна и спокойна. Мужчина-военнопленный плакал навзрыд.

Полицай Володька, бывший ассенизатор, подошел и потянул их за ноги. Через пару часов нашлись охотники и сняли с них обувь.

Живу в городе, в маленьком домике, недалеко от больницы. Сюда мне разрешил переехать пан бургомистр, как спецу. В гетто не хожу. Была как-то один раз после гибели мужа. Я проходила, опустив голову, и всюду меня встречали грустные глаза. Женщины ничего не говорили и молча плакали. Так гетто выразило мне соболезнование.

1 января 1942 года появился приказ о снятии с работы всех евреев и переселении их в гетто. Моя домработница Паша всячески удерживала меня от перехода в гетто. Она старалась выразить мне бесконечную преданность, страх за мою жизнь, а на самом деле, как оказалось в дальнейшем, она просто опасалась, что мои вещи уйдут из ее рук.

Сижу безвыходно в квартире. Прячусь, когда кто-то стучит. К Паше стали приходить какие-то гости. Пришел мужчина, Паша усаживает его и угощает водкой. Разговор идет о том, что квартиру нужно поменять, а лучше всего уехать из города. Затем он рассказывает, что вчера колол дрова у бургомистра Марцина. Бургомистр щедро угощал. «І що у нього робиться у хати, щоб ви знали, чотири дивана, меблі повно — все жидивське добро, от набрався так набрався»,¹ — говорит он.

¹ И что у него делается в доме, чтобы вы знали, четыре дивана, мебели

Какое-то время у меня жила девушка-украинка Еля Забарчук из села Роги. Тоска, печаль так овладели мной, что я искала утешения хотя бы в том, что рядом будет еще одна живая душа.

Еля начала старательно изучать немецкий язык. Как-то вечером она ввалилась в дом в компании немецкого офицера. Тот был явно недоволен присутствием Паши. Еля под села к нему со словарем и стала спрашивать, любит ли он целоваться. Но он сидел молча, оглядывая комнату. Потом встал и ушел. «Якый гарнесенький, якый славный хлопец, хіба у нас таки бувають!»¹ — повторяла Еля несколько раз. Вскоре я почувствовала, что она хотела бы избавиться от моего присутствия.

Через несколько дней Паша собралась в город. Она, как у нас с ней повелось, запирает меня на ключ. Я села на диван и вдруг заметила на столе «Цемент» Гладкова.² Взяла книгу — и оторваться уже не могла. Вдруг слышу, возвращается Паша. В голове у меня пронеслось: «Надо скорей прятаться». Но я так увлеклась книгой, что не заметила, как он вошел в квартиру, затем шагнул прямо в мою комнату. Его рябая физиономия, тупой нос и передний зуб с желтой коронкой знакомы мне давно. Он — житель Умани. «А это кто?» — спросил он. Паша ответила: «Моя сестра». — «Давайте документы», — потребовал он. Я стояла точно оглушенная. Потом он бросил: «Жидовка?» — «Да», — ответила я. Тогда началось... Он стал метаться по квартире и угрожать Паше за то, что она прикрывает жидов. Пришла Еля. Глаза парня бегали по вещам — чувствовалось, что он интересуется содержимым комода, шкафа и т.д. Проверив все содержимое шкафов и отложив мужские вещи, он заявляет, чтобы я шла в гетто и не смела сюда возвращаться. Я иду в гетто. Вижу, люди стоят и оживленно разговаривают. Мальчишки, невзирая ни на что, катаются с горы на салазках. Стройная, красивая девушка везет на саночках ребенка. (К этому времени евреи уже носили желтые знаки, круглые, в 5 сантиметров диаметром, на груди — слева и на спине — на 5 сантиметров ниже воротника). Подхожу к «Дому врача», где живут мои знакомые и где полагается жить мне. Поднимаюсь по грязной, заплыванной лестнице. Дом, некогда сиявший чистотой, весь в копоти, пыли и грязи. У чугунка сидит культурный человек М. Изр. Б-д, юрист, адвокат, который в недавнем прошлом вызывал своими выступлениями восхищение у пу-

полно — все жидовское добро, вот набрался так набрался (укр.).

¹ Какой хорошенький, какой славный парень, неужели у нас такие бывают? (укр.).

² «Цемент» (1924) роман советского писателя Федора Гладкова.

блики. Сейчас он парализован, и только голова его сохраняет ясность и трезвость мысли. Из-за своего состояния он не смог уехать и попал к немцам, но случайно уцелел во время двух первых кровопусканий. Увидев меня с вещами, он понимает, что я пришла в гетто на жительство. Его это растроило, потому что такие, как я, жившие в городе, были связаны с украинцами и часто оказывались единственным источником новостей. Например, я узнала и рассказала ему, что недавно у вокзала нашли двух убитых немцев. Это были «первые ласточки». Немцы тщательно скрывали такие факты и грозили большими наказаниями за распространение подобных сведений. Мое переселение из города в гетто было знаком наступления новых репрессий.

М.Изр. болезненно сморщился. «Вы насовсем?» — спросил он. Я кивнула. В этот день избили еврейку — за то, что она была в городе без знака, и наложили на еврейскую общину штраф в размере 1000 рублей. Я была третьим несчастьем этого дня. Мне отвели место возле печки. Вечером я кладу матрац на какое-то одеяло деревянного диванчика, а днем коротаю время возле моего культурного соседа. В стороне от печурки стоят кровати, в углу лежат доски, уголь и всякий хлам, помойное ведро и ведра с чистой водой. Все грязное, запыленное, прокопченное и черное от дыма. Страшно было окунуться в эту жизнь. Было странно и непривычно, что все должны жить бок о бок.

Наутро я прибрала комнату, помыла пол, но на большее у меня не хватило ни желания, ни энергии. Жуткое чувство обреченности постепенно овладевало мной, засасывало...

Начиналось утро. Вставали не очень рано: спешить было некуда. Только работающие у коменданта и комиссара в качестве уборщиц и дроворубов — те уходили рано. К 8:30 утра гетто оживало: шли по воду, выносили помои, производили уборку. Выйти на базар было нельзя. У входных дверей, притаившись, стояли еврейки и поджидали крестьян, идущих мимо с продуктами. Доступ в гетто для «посторонних» был запрещен под страхом сурового наказания. Запрещалось не только заходить в гетто, но и разговаривать с евреями и что-либо продавать им. Несмотря на это, многие туда все-таки проникали. Их привлекала щедрость евреев, боявшихся торговаться из опасения внезапного появления комиссара. Некоторые приносили сюда продукты, просто желая хоть чем-нибудь облегчить участь несчастных. Находились также люди, которые приходили в гетто к знакомым евреям, покупали для них на базаре продукты, были посредниками в добывании средств к жизни, то есть помогали продавать вещи. А некоторые даже осмеливались заходить в «Дом врача» — лечить зубы и советоваться по поводу своих недугов с жившими там врачами.

На базар обычно бегали молодые женщины, не похожие на евреек и хорошо владевшие русской и украинской речью. К сожалению, находились украинки, указывавшие полициам на еврейку, прикрывшую знак. Полициаи жестоко били провинившихся и прогоняли с базара. Иногда в перепалках с украинцем, восторгавшимся немцами, еврейки говорили: «Чекайте, чекайте, намы воны розчинылы, вама будуть мисыты».¹ Некоторые евреи пошли в полициаи.² И каждое утро они собирали работоспособных жителей гетто и вели их на работу по заявкам из полиции. Одна партия шла к казармам, другая — к железной дороге, кто-то в Софиевку и в другие места. Больше всего работали на очистке дорог от снега, на рубке дров, на уборке квартир «ответственных работников». Многие, конечно, старались увильнуть от работы. Но евреи-полициаи, согласившиеся на эту должность, отличались крайней подлостью, это были самые отвратительные экземпляры среди евреев. Пьяница, мародеры, спекулянты, жулики — вот материал, откуда набирались полициаи. Была даже одна женщина, по имени «Глекеле» (звоночек), хитрая бестия, в прошлом спекулянтка, проститутка, «пройди-свит».³ Ее голосок преследовал избранную жертву так, что отвязаться от нее было почти невозможно.

Бедный парализованный М. Изр. жадно читал немецкие и украинские газеты. Сводку изучали, сопоставляли с предыдущей и делали соответствующие выводы. В первые дни, когда немецкая армия шла вперед, ничего понять было нельзя. Немцы говорили, что Красная армия уже уничтожена, правительство почти не существует и советская власть накануне полного краха. Но евреи скоро постигли тайну гитлеровских сводок. Как-то промелькнула в газете статья о смелости сибиряков, указывалось, насколько они опасны на поле брани. Нам становилось легче: если так, то еще не все погибло, «есть еще порох в пороховницах».

Каждый вечер в комнату к М. Изр-чу собирались узники гетто, делились новостями. Были вечера великого отчаяния. Казалось, все погибло и мерзость захлестнет весь мир. Но такое состояние было только в первые дни. Постепенно в душу входила вера в то, что наши вернуться. М. Изр. не уставал повторять: «Никогда немец не победит, он будет разбит, помните это». Слова М. Изр-ча звенели в ушах.

Работать в гетто было невозможно: все валилось из рук. Сознание, что ты обреченная «смертница», со страшной силой давило и парализовало волю. В штатании из комнаты в комнату, в вечных разговорах на тему, когда придут наши, где фронт,

¹ Подождите, подождите, над нами они расправились, вам отомстят (укр.).

² Имеется в виду внутренняя полиция в гетто.

³ Пройдоха.

сколько сбито немецких самолетов, как понимать немецкие сведения, — проходил день. Вхожу в одну комнату. Там живут мать с дочерью и двое детей. Старших нет — ушли на работу. Надя, девочка лет четырех, стоит у кровати брата. Братика около года. Его личико обезображено диатезом. Несмотря на то, что из ранок сочится кровь, что весь он буквально разодран, — сидит тихо, спокойно, будто прислушивается к чему-то. И так, в молчании, проводят они целые дни до прихода матери. Я никогда не слышала детского плача из их комнаты. И не только эти, но практически все еврейские дети сразу будто состарились. И перестали плакать.

Помню одну девочку, Рузю Б., приходившую к нам из детдома. В этот детдом собирали всех детей, чудом оставшихся в живых (в конце концов все они были уничтожены). Шестилетняя Рузя уцелела только потому, что болела скарлатиной и в страшные дни уничтожения евреев, когда погибли ее родные, находилась в больнице. Она тихонечко входила в комнату и садилась на скамеечку. М. Изр. знал Рузю раньше как очень живую девочку и силился вывести ее из этого «тихого» состояния. Но напрасно. Она оживала только тогда, когда в тарелку наливали суп. Быстро поев, немедленно уходила. Больно было видеть, как на ее личике, таком нежном, розовом, отпечаталась страшная грусть, тоска жила в каждой черточке ее лица. Мы заметили, что с ее приходом у нас появляются вши. Она серьезно убеждала нас, что у них в детдоме вшей нет, ловко отвлекала наше внимание и, пользуясь моментом, когда на нее не смотрели, снимала с себя паразитов. Она как-то сразу состарилась, это бедное дитя. Что-то старушечье было в ее жестах, ужимках, разговорах. И так не вязалось это с ее годами и детским розовым личиком. Да, это была маленькая старушка. Помню еще одну девочку лет восьми, которую привела к нам Рузя. Ее родители погибли при втором погроме, и она со старшей сестренкой попала в украинский детский дом. Жили как будто спокойно, но однажды им предложили поехать покататься. Старшая быстро оделась и стала торопить маленькую. «Но я не поверила, что они хотят нас покатать, — рассказывает девочка, — и стала просить сестру вылезти в окно и убежать. Сестра не согласилась. Когда нас позвали еще раз, я выскочила в окно. А сестру мою забрали, и больше я ее не увидела».

Как-то вечером, когда двери были уже заперты, окна завешены и обитатели гетто старались себя уверить, что сейчас никто не ворвется, — раздались характерный стук сапог и громкий разговор. Мы сразу поняли, что по гетто ходят немцы. Насторожились и припали к замочным скважинам. Вдруг стало слышно, как из боковой улицы ведут евреев. Чей-то стар-

ческий голос плакал и просил: «Пан, не бейте меня, за что вы меня бьете!». Все заметались, быстро оделись, вытащили из кроватей детей и наскоро одели их. Несчастные дети, уже привыкшие к такому, сразу бледнели и поникали головками. Ни стоны, ни крика не срывалось с их губ, стоило только им сказать: тише, не плачь, там немцы. Открыли дверь на боковой балкон и, осторожно ступая, так, чтобы муху не спугнуть, стали прислушиваться к движению на улице. Вдруг шум стал затихать. Евреи, которых полчаса тому назад куда-то вели, вернулись обратно.

Оказалось, подрались два мадьяра¹ и один другого подстрелил. Подстреленный упал, а второй, решив, что тот убит, пришел в комендатуру и заявил, что жида убили его товарища. Немцы помчались в гетто и стали гнать евреев из той улицы, откуда, по словам мадьяра, стреляли в его товарища. Но вскоре в комендатуру пришел мнимо убитый и заявил, что стрелял его товарищ. Так, случайно, евреи избежали очередной расправы.

Пришло утро, полное волнений для обитателей гетто. Денег почти не осталось, продукты на исходе. Надо бы пойти к украинцам, у которых хранятся вещи, и отобрать кое-что для продажи. Но выйти из гетто, пробраться по улицам — дело нелегкое. Вчера девочка-украинка принесла в гетто продукты для своей приемной матери-еврейки — ее избил полицейский, следивший за ней, когда она пробиралась в гетто. Зубной врач К. решила пойти нижними улицами к своим друзьям за хранившейся у них вещью. Через некоторое время возвращается — лица на ней нет. Дорогу она преодолела, приняли ее хорошо, вещь, за которой ходила, — получила, но на обратном пути, возле самого гетто, ее догнали двое украинских мальчишек. Шли за ней следом, ударя сапогами по лужам и обдавая ее грязью, и при этом приговаривали: «Юд, юд — капут».

Другая женщина, тоже зубной врач, ходит на работу очень рано, чтобы не встречаться с беспощадными мальчишками: они бегают за ней и, показывая пальцами на желтые знаки на груди и спине, кричат: «Жидивка-ласточка!» Новые знаки, в виде двух кругов ярко-желтого цвета на груди и спине, привлекали внимание и вызывали насмешки прохожих: нередко около того места, где евреи чистили снег, останавливалась парочка украинцев, и ядовито, с насмешкой они говорили: «Що, получив два ордена? Кажи, який орден Сталина, який Ленина?»²

¹ Военнослужащие армии Венгрии — союзника нацистской Германии.

² Что, получил два ордена? Говори, какой орден Сталина, какой Ленина? (укр.).

Утром сижу в комнате врача Г. Ее дочь Ада — девушка лет восемнадцати — обнимает меня, кладет свою милую головку мне на плечо. Я глажу ее волосы и вижу, как подернулись слезами ее глаза. «Я так хочу жить, — шепчет она мне. — Что я сделала плохого в жизни, чем согрешила? Почему я должна погибнуть?» Молча целую ее и ничего не могу сказать. Слезы душат меня. Стараюсь отвлечь ее от этих мыслей. Она вспоминает, как немцы вошли в город и к ним в квартиру вошли несколько немцев. Они обошли все комнаты и вышли, а один застрял — он пытался заговорить с Адой. Девочка ответила, что разговаривать им незачем и не о чем. Каково же было ее удивление, когда он признался, что он еврей. Гитлер пришел к власти, когда ему было десять лет. Старший брат немедленно отправился в деревню и привез оттуда нужные документы. Они переехали в другой город, а потом он был вынужден стать солдатом в армии Гитлера. Он глубоко сожалел, что Ада не уехала на восток, и, уходя, поцеловал ей руку.

Сидящая рядом еврейка говорит: «Что бы мы сделали, если бы дожили до того времени, когда сюда придет Красная армия?» Другая отвечает: «Мы припали бы к ним, обняли бы и расцеловали». Затем вдруг прерывает себя: «Нет, мы упали бы на колени и целовали копыта лошадей». — «Доживем ли мы, чтобы увидеть наших?» — с глубокой скорбью произнесла первая.

Как-то утром к нам пришел оборванный рыжеволосый еврей лет тридцати. С ним была его жена. Быстро подошел он к М.Израчу и стал рассказывать: накануне он шел с работы из парка, мимо промчался автомобиль. Бедный еврей, устав за день, еле плелся. Вдруг шофер остановил машину, и из нее выскочил немец, комиссар города. Он избил еврея за то, что тот не остановился при виде машины с немецким офицером и не снял почтительно шапку. Кроме того, он наложил на несчастного 1000 рублей штрафа. Еврей плакал, уверяя, что ему нечем платить. Он просил М. Израча написать прошение к коменданту. М.Израч составил ему это прошение. Конечно, никакого действия оно не возымело.

22 февраля днем, после выполнения всех работ, мы с женой М.Израча вышли во двор, чтобы вылить помой. Во дворе было особенно оживленно: у ворот стояли кучки евреев, молодые девушки высунулись из дверей домов и о чем-то переговаривались. Недалеко, через дорогу, горел большой двухэтажный дом: немцы так яростно топили, что дома горели. То же произошло и на этот раз. Евреи, которых заставили тушить дом, делали это без особого старания. Вдруг на одной из боковых улиц гетто послышались выстрелы, и вскоре на

середину улицы выкатились сани, а в них три немца. Один из них — в дорогой шубе и в шляпе.

Мы обе, с пустыми помойными ведрами, возвращались к дому. Вдруг навстречу нам промчалась женщина, за ней другая. На наши вопросы, что случилось, они не ответили, только одна махнула рукой и побежала дальше. Мы бросились к дому, к черному ходу. Навстречу бежал молодой человек, его лицо было перекошено от ужаса. Он крикнул нам: «Не ходите, там плохо!» — и тоже побежал. Мы заскочили в подвал, спрятались под лестницей и ждали. Над нашими головами слышался топот немецких сапог. Когда шум прекратился, мы вошли в нашу квартиру. Оказалось, что это комиссар приехал посмотреть, как тушат пожар и был возмущен плохой работой. Заглянул в несколько еврейских квартир и в некоторых обнаружил мужчин, занятых разговорами. Он тут же пристрелил нескольких человек, кое-кого приказал немедленно повесить. И на низкой перекладине, почти касаясь земли, повисли несколько мужчин. Затем он вышел на улицу и выстрелил в воздух. Евреи разбежались, как перепуганные мыши. Тогда немцы с револьверами в руках ворвались в квартиры и стали сгонять людей на пожар. Как фурии, носились они по квартирам, заглядывая во все щели. Из нашего дома погнажи почти всех. Очень скоро, приблизительно через полчаса после того, как комиссар уехал, люди вернулись домой. А пожар продолжал разгораться.

Часов в 8 вечера «геттовцы» заняли свои места на ночь. Все закрылись, заперлись. Гетто приготовилось спать. Вдруг раздался страшный стук в парадную дверь. Все насторожились. Затем послышался грохот вылетающих дверных створок. Одна из обитательниц дома, доктор Г., пошла узнать, что случилось. На лестнице она встретила полиция, который спросил ее, где живет доктор Рабинович, староста общины. Доктор Г. объяснила, и он ушел. Выглянув из двери, она увидела второго полиция. «Что случилось?» — обратилась к нему доктор Г. «Кто вы такая?» — спросил ее молодой парень-полиция. «Я доктор Г.». — «Доктор, — сказал ей полиция, — скажите вашим, чтобы немедленно взяли ведра и пошли тушить пожар, если не хотите, чтобы вас повесили. Только что повесили доктора Гитиса». Эту страшную весть взволнованная Г. принесла нам. В один миг все, кто мог, схватили ведра и побежали во двор.

Это случилось в ночь на 23 февраля 1942 года. Морозы стояли жестокие, в 35°. Ночь темная, небо звездное. Возле пожарища горит костер, и какие-то фигуры пытаются наладить подачу воды через шланг наверх. Оказывается, получив точные указания, где живет староста, полицаи зашли к нему на квартиру и вызвали его, велев захватить с собой веревку.

Уверенный в том, что веревка нужна для тушения пожара, староста Рабинович стал требовать, чтобы ему скорее дали веревку. Зять и дочь в поисках сбились с ног. Одновременно полиция зашли к доктору Гитису, избили его, выволокли и повесили тут же на воротах. Другого врача, Гольденберга, тоже поволокли, предварительно связав его, так как он отчаянно отбивался. У ворот с трупом Гитиса выстрелом убили Гольденберга, и тот грохнулся рядом. Убивал здоровый детина Воропай, в длинной шубе и высоких валенках. Заряжая револьвер, он сказал: «Перестреляю человек семь, тогда пойдет работа».

Молча подносили евреи ведра с водой и становились у костра в ряд, ожидая очереди вылить ведро. Рабинович качал насос. Вдруг к нему подошел Воропай и потащил его в сторону. Рабинович закричал: «Люди, меня берут, тянут, за что?» — «Тише, тише, без шума», — сказал Воропай. «Прощайте жена, дети!» — крикнул Рабинович и повис на перекладине рядом с Гитисом. Люди молча качали насос. Зарево костра скупо освещало происходящее, и только тени двигались взад-вперед. Всю ночь вверх и вниз бегали по горе евреи с ведрами воды. Мороз был такой, что разлитая вода почти мгновенно превращалась в лед. И гора сплошь была покрыта льдом. Но никто не упал. С полными ведрами евреи поднимались по лестнице горящего дома и входили в комнату, где горел потолок, — горячие головни летели вниз, языки пламени тянулись в разные стороны, и все окутывал дым. Совершенно равнодушно, молча подходили люди к зияющим ямам вместо пола и выливали содержимое ведер. И так — до рассвета.

Утро обитатели гетто встретили совершенно изнуренными. Возле дома старосты валялись пустые ведра. Люди шли спать, а некоторые, как обычно, по требованию полиции отравились на работу. В домах обсуждались события прошедшей ночи: приезд комиссара, гибель врачей. Обсуждали также, как похоронить убитых: евреям вменялось в обязанность хоронить за свой счет. Вечером пришел С., работавший у комиссара не то лакеем, не то дроворубом. Комиссар дал ему имя Иван. «Ну что, Иван, — спросил его комиссар, — ждете красных? Сегодня 23 февраля. Хорошо отпраздновали вчера день Красной Армии?»

Наступило утро. Пришла моя очередь идти на работу с партией женщин. До этого мне как-то удавалось, прибегая к разным хитростям, уклоняться от работы. Сначала меня не трогали из уважения к памяти мужа, затем уважение и прочие подобные чувства стали испаряться. К восьми часам я вышла на улицу и подошла к небольшой кучке людей со знаками на груди и спине, спокойно разговаривающих — в ожидании, когда

все соберутся и можно будет отправиться. Надо сказать, в гетто ходил по рукам журнал, изданный в Берлине и неизвестно каким образом попавший сюда. В этом журнале были снимки из жизни Варшавского гетто. Снимки были разные. Вот на фоне людной варшавской улицы, превращенной в гетто, идут двое — хорошо одетые мужчина и женщина с желтыми знаками на груди. Знаки изящно приколоты — наподобие большого желтого цветка. Вот снимок еврейского казино; вот похороны ребенка; а вот фотография еврейского полицейя. Евреи с интересом рассматривали эти снимки, и их тревога постепенно ослабевала. Люди стояли вполне спокойно и мирно переговаривались, делясь впечатлениями по поводу просмотренного журнала. Наконец все собрались. Вышел полицейя-еврей и отправился с нами в полицию. Шли мы парами, друг за другом. Улицы были пусты. На лицах редких прохожих, попадавшихся нам навстречу, как правило, выражались удивление, сочувствие, жалость. Привели нас в полицию. Велели зайти в комнату налево и ждать распоряжения.

Полициаи деловито сновали туда-сюда. В большинстве все они — молодые хлопцы, большей частью бывшие комсомольцы, в недавнем прошлом товарищи наших детей, наши друзья. Какая пропасть легла сейчас между нами!

Правда, были отдельные полициаи, которые тяготились своим положением. Было видно, что они испытывали грусть, напряженность, неловкость. Обращались они с нами вежливо — как с обреченными. Нас отправили в Софиевку чистить снег. Мы дошли до дома, где жил проклятой памяти гитлеровский садист и негодяй — комиссар Мееле. Здесь нам выдали лопаты и приказали расчистить дорогу. Распоряжался работой некий Т., мужчина средних лет, очень высокий. Он стоял, огромный, и орал на всех: «Эй ты, поворачивайся, чего заснул! Скорей!» Когда работу закончили и снег улегся по обе стороны дороги, нам велели перейти на другое место, за дом. Перевел нас туда тот же Т., при этом он громко кричал и ругался.

Каково же было наше удивление, когда, очутившись вне поля зрения комиссара, Т. вдруг сказал: «Товарищи, отдохните. Вы свою работу почти выполнили. Спасибо». Дальше работа пошла спокойнее, и нас очень скоро отпустили. Медленно иду домой. Опустила голову, чтобы никого не видеть. Знаки на груди и спине жгут меня. Вдруг в отдалении вижу немку и двух молодых немецких солдат. Я немедленно сворачиваю в сторону, на боковую дорогу. Они подходят с главной. И вдруг я слышу по-немецки: «Что, ты уже идешь с работы? Твой рабочий день закончен?» Это сказано с таким презрением, что я вздрагиваю, как от удара, поднимаю глаза и убеждаюсь, что эти слова относятся ко мне. Молодой

немец, о чем-то говоривший с немкой, заметив меня, вдруг прервал разговор этой репликой. Я молча шарахаюсь в сторону. Немка удивленно подняла голову, увидела меня, нахмурилась и ничего не сказала. Так мы и разошлись.

В этот момент пришел конец моим колебаниям. Уже давно я вынашивала мысль — уйти куда глаза глядят. Пусть впереди гибель, но — на свободе. Кое с кем я поделилась этой мыслью. Меня удерживали, расхолаживали, доказывали беспечность моего намерения, и я все откладывала свой побег. Эта встреча повлияла на меня, как ожог. Я решила уйти. Лучше погибнуть, но не терпеть унижения.

В гетто вернулась к трем часам дня. Здесь царило непривычное оживление. Сердце сжала тревога. Что-то случилось. Подхожу ближе и натываюсь на работника аптеки, некую Г. Она застряла в Умани вместе с дочерью шестнадцати лет — не сумела эвакуироваться вовремя, муж погиб на фронте. В ее лице читались такая угнетенность, такое горе, что я остановилась. «Что случилось?» — спросила я, чувствуя, что опять надвинулось что-то страшное. «На нас наложили новую контрибуцию в размере 350 тысяч, а ведь мы только сегодня утром внесли 250 тысяч». Больше она ничего не прибавила.

Я вошла в дом, где жила. Еще новости: из другого большого дома, где ютились евреи и где они нашли спасение в предыдущие кровавые дни, — им велели срочно выселяться. У нас в комнате был ужасный беспорядок: перетаскивали бревна, уголь, устраивали жилплощадь для новых жильцов — семьи из трех человек. Вечером вдруг новая весть: одна семья уходит на ночь в подвал к комиссару, где работал их отец. У этой семьи были связи, и, если надвигались какие-нибудь события, их всегда предупреждали. Когда они ушли из гетто на ночь, все застыло от страха. Я и еще одна обительница гетто получили разрешение провести ночь в их комнате. Добрую половину ночи простояли мы у окна, глядя через щель в ставнях на пустынную улицу и прислушиваясь к малейшему шороху. Часа в два ночи я прилегла, пролежала в полузабытьи часа три и к утру твердо решила уйти. Уйти утром, не откладывая. Документов у меня никаких, кроме справки, выданной горздравом. В ней говорилось, что Березовская Клавдия работала лекпомом в госпитале для военнопленных в 1941 г. в течение месяца. С этим «документом» я и решила отправиться. Еще был у меня маленький серебряный крестик, который достала мне одна знакомая.

Я поделилась своими мыслями с врачом Р.: как мне тогда казалось, она относилась ко мне довольно сердечно. Показала ей документ и спросила, как быть. «Хотите — идите, хо-

тите — оставайтесь», — эта фраза буквально хлестнула меня. «Что стало с людьми! Какое страшное одиночество!» — подумала я. Легла на диван, и недавнее прошлое встало перед глазами, а потом сменилось картинками из настоящего. Я вскочила и начала укладываться. Пусть гибель в лесу, пусть замерзну где-нибудь, но буду знать, что я что-то сделала для своего спасения. Я не хочу, как баран, покорно идти на заклятие. Пойду к фронту... Но где же фронт? Как пройти? Я вошла в комнату, где находились мои вещи, и стала собираться. Все лежат на своих местах, но никто не спит: не дают покоя дневные волнения. Кроме того, прибавились еще три новых обитателя, а в придачу я хожу как тень и собираюсь в путь. В растерянности думаю: «Что взять с собой?» В такую необычную дорогу мне еще не приходилось ни собираться самой, ни провожать других — опыта никакого. Взяла смену белья, пару полотенец, два куска мыла, подаренных мне коллегой, пару туфель (в надежде, что доживу до весны) и кусочек хлеба. Надела синее шерстяное платье, сверху шерстяную юбку. Вот только голову прикрыть нечем — нет у меня теплого платка, мой платок застрял у «преданной» Паши, которая, под влиянием «хороших людей», отказалась отдать мне мои вещи. Как быть? Оторвала угол от белого шерстяного одеяла моей матери и приспособила вместо платка. Осмотрелась кругом — ничего не жаль. Жаль только фотографий родителей, которые я оставляю на столе вместе с сумочкой, — из опасения, что эти мелочи могут меня выдать.

В последний раз подошла к кровати, где лежал М. Изр. и сказала: «Я иду». — «Идите», — был ответ. «Прощайте, люди», — мысленно сказала я и вышла. Уже рассвело. За мной пошла В.Л. — жена М. Изр-ча. Никому я не сообщила о своем уходе, кроме него. Остро чувствовала, что никому не нужна, что каждый занят собственным горем, да и не хотелось услышать доводы против моего ухода, потому что боялась усомниться в правильности своего решения. Быстро подала руку В.Л., сошла с лестницы и кивнула ей. Недалеко от выхода я встала: навстречу шла семья С., ночевавшая этой ночью в доме комиссара. Жена С., чрезвычайно неприятная особа, узнав, что ухожу, прошла мимо, даже не остановившись. Муж ее спросил: «Зачем и куда вы идете? Получится ли у вас что-либо хорошее из этого?» — «А здесь что меня ждет, кроме смерти?» — ответила я. Мы постояли пару минут. Пожали друг другу руки, и я пошла.

Уже поздно. Девятый час утра. На мне хорошее коверкотовое пальто и белый платок. В руках корзина. Стараюсь выглядеть веселой. Грусть в глазах, заплаканное лицо — по этим признакам немцы моментально узнают евреев. Иду, конечно,

без знаков. Помню волнение моих сожителей по гетто, когда кто-то отправлялся в город без опознавательных знаков; помню избитого несчастного еврея, который шел без знаков и попал на глаза какому-то полицаяу; помню, как нервничали мои товарищи, когда я уходила за пределы гетто без знаков, и чувствую, что мной овладевает нервная дрожь. Сердце стучит часто-часто. Иду как будто спокойно, зорко вглядываюсь во встречные фигуры и лица, все время начеку. Главное — заранее увидеть знакомое лицо и под каким-нибудь предлогом вовремя свернуть с дороги.

Улицы, как обычно при немцах, почти пусты. Понуро, хмуро шагает редкий прохожий. Веселых лиц, кроме «немецких овчарок», почти не видно. Иду размеренным шагом и временами изящно, как дома, кутаюсь в высокий дорогой воротник, особенно тогда, когда в меня пытливо вглядываются глаза встречного. Наконец добираюсь к моей приятельнице — врачу, занимающей и при оккупации видное положение. Со страхом вхожу во двор: время изменило людей, нас боятся. Многие хлопают дверями перед носом, а кто-то виновато говорит, что боится наказания за общение с евреями. Что-то будет здесь? Захожу. Домработница ничего не говорит, не выставляет из дома, а идет будить хозяйку. Та встает, зовет меня к себе в комнату. Вхожу, здороваюсь и прошу прощения, что пришла, несмотря на все запрещения. Слышу ответ: «Ну, что ж такого, заплачу 100 рублей штрафа — и все». У меня отлегло от сердца. Я только теперь узнала, что для украинцев общение с евреями грозит пока лишь денежным штрафом. А нас «друзья» запугивали чем-то большим. Рассказываю, что привело меня сюда. Прошу указать мне дорогу к фронту, если у них есть какая-нибудь карта. Хозяйка проникновенно крестится и с ужасом говорит: «Куда? Ведь это на верную смерть!» — «А здесь что?» — отвечаю я. Она зовет своего квартиранта, человека, чудом спасшегося при разгроме 6-й армии¹ и сейчас переживающего в этом доме трудное время. Он осмотрел мои жалкие документы и посоветовал идти по направлению к Киеву. Мне дали на дорогу сала, пожали руки и благословили в поход. Потом зашла к своей коллеге по работе, в то время еще поддерживавшей связь с нами. Та же реакция, реакция ужаса и страха, когда узнала, что я хочу уйти. Дала немного денег.

Уже полное утро, часов десять. Идти через Войтовку,² по направлению на Киев, боюсь. Мне мерещится, что в том углу могу встретить знакомых. Иду к вокзалу, это направление на

¹ Разгромлена вместе с 12-й советской армией в ходе сражения под Уманью в июле — августе 1941 г.

² Войтовка (после 1946 г. — Родниковка), село в 65 км от Умани.

Паланку. Иду быстро, спускаюсь к реке, решаю перейти на другой берег по льду, чтобы миновать мост.

Недалеко от полотна железной дороги замечаю идущую мне навстречу женщину, а навстречу ей, то есть впереди меня, идет полицай. Мне хорошо видна его фигура, и я соображаю, как себя вести, если он меня заметит. Вижу, женщина поравнялась с ним и спокойно прошла мимо. «Так почему и мне не пройти?» — думаю я и внутренне подтягиваюсь. Иду прямо. Вдруг из-за кучи угля вырисовывается фигура другого полицая. Прохожу медленно, с безразличным лицом. Все благополучно. Вот я уже в десяти шагах от него. Уверенность и спокойствие вошли в меня. Продолжаю двигаться. Но куда идти? Что говорить? Вот два вопроса, сверлящие мой мозг, а я еще ничего не решила. Первый раз в жизни иду одна по полю.

Встречаются редкие одинокие прохожие — все это селяне из ближайших деревень. Смотрят равнодушным взглядом и молча проходят мимо. Я становлюсь все увереннее. Наконец — околица села Паланка.¹ Из-за оттепели дорога оттаяла, и по ней утомленные ноги передвигаются с трудом. Решила отдохнуть и зашла в первую избу. Грязные сени, копошатся куры. Стучусь в дверь. Вхожу. У машинки сидит и шьет женщина, по-видимому, из городских. Здравуюсь, получаю разрешение присесть отдохнуть. Завязывается разговор. Говорю первое, что приходит в голову: «Я лекпом, иду по назначению». Не успеваю сообразить, куда иду, как узнаю от словоохотливой хозяйки, что в соседнем селе Кузьмина Гребля нет лекпома, и соглашаюсь с ней, что меня туда направили. Спокойно сижу и веду разговор с хозяйкой о наиболее важных вопросах. Жалуется, что мужа нет, одной с детьми трудно, и она переехала из города в село — здесь ее кормит шитье. Я немного посидела, отдохнула, дружески попрощалась с хозяйкой и вышла ободренная. Первый опыт удался. Экзамен выдержала. По внешнему виду не разгадали, кто я, — следовательно, надо продумать свою роль и играть ее как можно лучше...

Не знаю, что делать, и отправляюсь пока в село Синицы, по адресу, который достался мне случайно. Там живет пациентка моей коллеги, она мне ее и указала, когда я попросила назвать мне хоть кого-то знакомого в селе. А пока, по дороге к ней, обдумываю план дальнейших действий. Иду лесом. Хотя из-за глубокого снега идти трудно, все же замечаю, что в лесу необыкновенно хорошо. Солнце светит ярко, снег искрится и переливается, и свистит какая-то ранняя птичка. Тишина, покой. И меня охватывает ощущение свободы, становится так хорошо, чувствую такую легкость, какой давно

¹ Расстояние от Войтовки до Паланки 22 км.

не испытывала. Анализирую весь сегодняшний день и решаю, что поступаю правильно.

Добираюсь до села.¹ У околицы высокий детина тянет из колодца ведро с водой. Я обдумываю, как же к нему обратиться. Вспоминаю, что женщина, к которой иду, лежала в нашей больнице. Спрашиваю парня, где живет та женщина, что недавно лежала в Уманской больнице. Он показывает. Иду по селу. Случайные встречные бросают на меня безразличные взгляды и спокойно проходят мимо. Это меня подбадривает, я двигаюсь смелее. Вот, наконец, и хатка, куда держу путь. Вхожу. У стола сидит хозяйка. Симпатичное украинское лицо, короткий нос, ласковые, со смешинкой карие глаза, рассеченная верхняя губа. Узнаю по губе. Услышав, кто меня направил, встала, попросила сесть, засуетилась. Вдруг вошел молодой парень, видно, сын. Увидев меня, слегка нахмурился. Завожу разговор о той докторше, что лечила хозяйку, сообщая новости из города, в том числе о ценах на хлеб и молоко. Но вот готова яичница, хозяйка просит к столу и наливает чарку. Смотрю, как хозяйка быстро опрокидывает в себя чарку, затем наливает мне. Заглушаю в себе чувство обычной брезгливости, еле прикасаюсь к чаре и опрокидываю в горло. По телу разливается тепло. После еды встаю и размашисто крещусь на образа. Морщины на лбу у сына разглаживаются, лицо повеселело. Сомнения рассеялись. Сын вышел, а я спросила хозяйку, не может ли она помочь мне получить у их старосты справку, чтобы выволить моего сына, якобы находящегося в плену у немцев. Она заохала, сказала, что ничем помочь не может, что даже для своего брата ничего не могла получить. Мы сердечно попрощались, и я ушла. Первое посещение крестьянской хатки прошло для меня неплохо. А там видно будет. Иду обратно на ту же Паланку, а оттуда мой путь к «пленному сыну». Не знаю только, в каком же городе должна я «определить в плен» моего сына. Знаю, что отсюда идет дорога на Теплик, а там дальше — на Гайсин. Вот и решаю держать путь на Гайсин и там «искать» «пленного сына».

Быстро миновала лес. Надвигаются сумерки. Я вхожу в село, начинаю в поисках ночлега ходить из хаты в хату. Все смелее разговариваю с хозяйками, но в ночлеге все отказывают. В душу закрадывается тревога. Как быть? Вечер. Порядком устав, совсем в сумерках подхожу к какому-то большому двору. В середине двора, на горбочке, большая хата. Тын вокруг не разрушен, хозяйственные постройки загромождают двор. Чувствуется крепкая хозяйская рука. На двор выглянул старичок. Прошу его позволить переночевать. Разрешает. Вхожу в просторную, хорошую, в три окна, хату. Посре-

¹ Расстояние от Паланки до Синицы 5 км.

дине высятся столбы, стоит огромный стол, на стене много икон, в стороне большая кровать и печь. Мне отводят место на лавке возле окна. Сажусь и с удовольствием вытягиваю ноги. Чувство тепла и покоя охватывает меня. Хозяева, старик и старуха, начинают расспрашивать, куда я иду. Начинаю свою «песню». Говорю, что иду к пленному сыну, чтобы его вызволить, что получила извещение о том, где он находится. Старики сочувственно кивают головами, очень жалея меня. Входит молодая дочь, живущая где-то по соседству. Коптилка плохо освещает комнату; я стараюсь попасть в тeneвую, менее освещенную часть. Замечаю, что дочь силится меня разглядеть и не отводит от меня внимательного взгляда. Старик отец с сочувствием и жалостью говорит, что мне придется многое испытать в поисках сына, и вообще, еще вопрос, найду ли я его. Дочь выражает сомнение: как это я так скоро получила от него известие? Я не вдаюсь в подробности, не отвечаю на ее замечание и только прочувствованно говорю: «Даже если не найду сына в Гайсине, то, по крайней мере, узнаю, куда его направили, и пойду туда — без сына мне жизни нет». Старуха наливает мне тарелку борща, дает хлеб. Затем приносит солому и стелет на полу возле стола. Хозяйская дочка уходит. С жадностью ем борщ, а затем становлюсь на колени и тихонько горько плачу. Старики смотрят на меня «молчащую» и глубоко вздыхают. Я укладываюсь, старик бросает мне еще одно рядно,¹ укрывает моим пальто и говорит: «Спи, спи, бедна голубка-маты, помогай тоби Боже».² Лежу. Недавнее прошлое, близкие, родные лица проходят перед моими глазами, слезы душат меня. Стараюсь отвлечься, думаю о том, что ждет меня завтра, и засыпаю. Чуть засветилось в окнах — в доме завозились. Заскрипели двери. Спыхватываюсь, одеваюсь, убираю постель.

На дорогу хозяйка дала мне кусок хлеба и два соленых огурца. Я попрощалась и вышла из хаты. Дорога еще в тумане, но постепенно светлеет. Из хаты напротив тоже появилась какая-то пара, двинулась вперед и пропала из виду. Я вышла на большую дорогу. Навстречу мне быстро идет женщина примерно моих лет, в суконной свитке из домашнего сукна и большом платке. Останавливается. Узнаю от нее, что спешит она в Христиновку, там находится в плену ее сын. Получила от него весточку и спешит его вызволить. Мы быстро расходимся, и я твердо решаю, что на ближайшее время это и есть моя роль. В дальнейшем я — мать, иду к пленному сыну.

Иду вперед. Слышу — гудит мотор. Оглядываюсь. Вижу, мчитесь закрытый грузовой фургон. Управляет немец. Меня

¹ Холст из конопляной или льняной ткани, дерюга.

² Спи, спи, бедная голубка-мать. Помоги тебе Господь (укр.).

вдруг железной рукой охватывает страх. Уверена: это за мной. Нервы уже не подчиняются рассудку. Первое желание — уничтожить документы, которые могут меня скомпрометировать. Я выхватываю из кармана эти документы и кладу под первую же глыбу льда. Через несколько минут грузовик промчался мимо. Я успокоилась и бросилась назад за документами. Но ледяные глыбы были похожи одна на другую, и сколько я ни искала, — найти не смогла.

К вечеру добралась до села Орадовка,¹ попросилась в первую же хату. Меня впустили, приняли приветливо, устроили на печи, чтобы я обсушилась и согрелась. Я охотно влезла на печь и расположилась там на грудах пшеницы, рассыпанной для просушки. Особенно хорошо было то, что никто входящий меня не видит и не задает мне вопросов. Меня волновала потеря документов, и я обдумывала все, что сделала, и как мне вести себя дальше. Вскоре вошли гости — мать и сын. Оказалось, что это знакомые моих хозяев, они из Умани, пришли к ним переночевать. Услыхав, что гости из Умани, я замерла от ужаса. Если эти люди окажутся моими знакомыми — я погибла. Мне предлагают спуститься с печи и присоединиться к гостям. Я под разными предлогами отказываюсь. Когда подали ужин, мои хозяева стали настойчиво предлагать мне поужинать с ними. Не желая привлекать к себе особого внимания, я сошла вниз. К моей радости, пришедшие были мне незнакомы и приняли меня очень доброжелательно. Я в компании поужинала, тут же на соломе нам постелили, а рано, чуть свет, я поспешила уйти. Как настоящий странствующий «Вечный жид», шла я от села к селу, старательно обходила здания сельрады,² стараясь не попадаться на глаза немцам, полякам, а по возможности — и обычным украинцам. И судьба как-то меня хранила. По вечерам я стучалась и просилась на ночлег, а едва светлело, собиралась дальше. И что поражало: никаких разговоров о том, что происходит, о немцах не говорят, будто их и нет. Деревня как бы притаилась и умолкла.

Однажды переночевала в селе Михайловка. Вышла. На дворе метель. Хозяйка, молодая черноволосая украинка, так и ахнула, увидев меня готовой в путь. Но я боялась остаться. Гнал страх.

Тихо падал густой снег. Все попрятались. Ни души. Прощла полдеревни и только у околицы встретила какого-то дядьку. С удивлением посмотрел на меня, когда я спросила дорогу на Гайсин. Пошла по указанному направлению. Дорога шла круто в горку, затем я вошла в лес и пошла широкой просекой. Двигаюсь вперед, не отдавая себе отчета. Полное безразли-

¹ Расстояние от Паланки до Орадовки 10 км.

² Сельсовет (укр.).

чие и покорность судьбе. Иду, а снег все гуще и гуще. Навстречу сани. На санях молодой селянин в военной шинели. Поравнявшись со мной, останавливает лошадь и спрашивает, зачем иду в такую метель. Предлагает сесть в сани и вернуться в село, так как буран усиливается. Сажусь в сани, но не успеваю отъехать, как навстречу мои вчерашние спутники, с которыми я добиралась до Михайловки. Они удивленно смотрят на меня: почему возвращаюсь обратно, в то время как вчера так горячо уверяла в необходимости спешить срочно к сыну. Кричу им, что из-за погоды побоялась одна идти, и останавливаю сани. Но пока я слезала и снимала свою корзину, они уже далеко уехали. Медленно плетусь вперед, чувствуя, что ноги вязнут в снегу. Страшное бессилие охватывает меня, двигаться не хочется. Так бы и села на мягкий, как перина, снег. Не все ли равно, где закончить счеты с жизнью? Вдруг навстречу сани, запряженные парой хороших лошадей. Кроме кучера, двое прилично одетых людей. Такая встреча мне совсем не по душе, так как с таким комфортом могут ехать только люди, занимающие теперь, во время оккупации, видное положение. Они удивленно смотрят на меня, и один из седоков трогает кучера за плечо. Тот останавливает лошадей, я тоже машинально останавливаюсь. Не отдавая себе отчета в поступке, который совершаю, влезаю в сани, проваливаюсь в солому и падаю. Мне помогают подняться и усаживают. «Куда, тетка, спешишь, в такую погоду?» Я пропускаю вопрос мимо ушей и обдумываю, что сказать. Молодой человек городского вида говорит: «Да не спрашивайте ее, куда едет, теперь не все надо знать». Я сижу молча. Подъехали к селу. Слезаю с саней и захожу в первые ворота. Выбирать некогда: метель расходится все пуще. Меня впускают в жилую теплую комнату. Оказывается, я попала к псаломщику. «Вот так попала», — думаю я, исподтишка оглядывая хозяев. Он — черный как жук, с острым взглядом черных глаз. Жена — некрасивая, но с удивительно мягкими движениями, тихим голосом и спокойным взглядом серых глаз. Как бы невзначай расстегиваю я ворот своего синего платья, оттуда виднеется маленький крестик на позолоченной цепочке, высоко подтянутый к шее. Мой хозяин испытующе смотрит на меня и часто переводит взгляд на мой крестик. Начинаются разговоры и расспросы, куда, зачем иду. Прибегаю к другой хитрости. Так как мое путешествие к пленному сыну не всеми воспринимается одинаково и находятся люди, которые выражают сомнение и удивление, как это я так быстро узнала, где мой сын, — я рассказываю уже другую историю: я, мол, из Донбасса, из Горловки. О Горловке и дороге оттуда я уже успела узнать от случайных встречных и попутчиков. Итак, направляюсь в Гайсин к брату моей матери — своему дяде

(называю фамилию). О том, что такой живет в Гайсине, я узнала случайно, так как один мой знакомый был оттуда родом. Оказалось, что хозяин моего нового пристанища прошлым летом возил картошку в Гайсин к этому самому «дяде». Так мое «украинское происхождение» нечаянно подтвердилось — к величайшему моему удовольствию.

Три дня бушевала непогода. Не раз чувствовала я пристально всматривающиеся в меня глаза моего хозяина. Как-то раз, когда хозяин вышел, я стала почитать евангелие, лежащее на окне. Хозяин зашел и сразу посмотрел на меня, сощурившись. «Читаете? Заглядали колысь сюды?». — «А чо ж, прыходилось читать».¹ И стала рассказывать ему притчу за притчей. Мой хозяин задумался. В дальнейшем его разговоры со мной носили несколько иной, более мягкий характер. На третье утро погода успокоилась, и я ушла по направлению к Гайсину.

На самом краю города стоят бараки. Я зашла в один из них — будто выпить воды, а главное — «пощупать» настроение. Впечатление нехорошее. Женщина, впустившая меня, так и впилась взглядом, что-то соображая. Недолго думая, под каким-то предлогом я вышла и пошла дальше. Добралась до города и нашла дом «моего дяди». Оказалось, дядя уже год как умер, а сын в эвакуации. Посидела, погоревала об умершем «дяде», отдохнула и тихонько отправилась обратно. Так как поблизости располагалась полиция, я опасалась расспрашивать о дальнейшей дороге куда бы то ни было и пошла по уже знакомой дороге в обратную сторону.

Выйдя из города, встретила молодого парня с симпатичным лицом, мчавшегося в санях. Моя случайная спутница — девушка, шедшая со мной, — обратилась к нему с просьбой подвезти меня, так как я еле плелась. Он остановил сани, я села и с удовольствием вытянула измученные ноги. Неожиданно повезло! Разговорила со своим спутником, рассказываю ему о своем несчастье, о том, что мой дядя, к которому я шла, умер и мне некуда идти. Парень сочувственно слушает и молчит. Затем говорю, что у меня есть родные в Виннице и Киеве. Решаем, что я поеду пока в Гранов,² а там будет видно. По дороге прошу остановиться возле двора псаломщика. Захожу туда, рассказываю о смерти «моего дяди». Мне выражают сочувствие, предлагают пообедать. Я отказываюсь, и меня провожают до ворот. Все это видно моему вознице. Едем в Гранов. Несмотря на мое «родство» и знакомство с псаломщиком, мой возница подвозит меня к церкви в Гранове и говорит, что

¹ «Читаете? Заглядывали, когда-нибудь сюды?» — «А что, приходилось читать» (укр.).

² Село Гранов располагается в 17 км от Гайсина и в 63 км от Умани.

больше помогать мне не может. Слезаю и снова иду по хатам. Это самое мучительное в моем путешествии — усталость за целый день ходьбы, вечер и порой отсутствие ночлега. А тут еще морозы, да какие! Когда совсем стемнело, с большим трудом удалось мне устроиться на ночлег к какой-то женщине, живущей с дочерью. Сама она недавно приехала из Киева и знакома со всеми трудностями переходов.

Утро застало меня снова в дороге. Вышла на край села и решила идти на Киев. Протоптанная по снегу дорога ведет на Белую Церковь. Иду, увязая в сугробах. Меня обгоняют две селянки, идущие к мужьям в Белую. Узнают, что я иду к сыну в Киев, приглашают идти с ними. Сначала идем вместе, но скоро я начинаю отставать и еле плетусь. Вдруг меня нагоняют сани, запряженные парой коней. Краснощекая молодая баба в кожухе, укутанная платками, спешит, по-видимому, в ближайшее село на праздник. С ней мальчик лет пятнадцати, корзина, полная провизии, четвертная бутылка со «святой водичкой». Я шагнула к саням, но возница хлестнул лошадей, и они понеслись. А баба все оглядывалась на меня и что-то говорила спутникам. Те долго оглядывались.

Иду по полю, по узкой протоптанной дорожке, а в голове никакой ясности. Куда же, наконец, идти — в Киев, в Харьков? Где фронт? Как узнать? Вдруг в стороне, возле рощицы, замечаю пешехода. Останавливаюсь и жду его. Он подходит. Красноармеец-пленный. Попал в плен под Харьковом, добирается домой в Гранов. Говорит, что фронт недалеко — под Харьковом. Разговаривает неохотно, расходимся в разные стороны. Итак, значит, на Киев. Оттуда пойду на Харьков. Вдруг незаметно набежала тучка. Картина сразу изменилась: снег потускнел, с земли стал подниматься туман. Оглядевшись вокруг, увидела: недалеко будто деревня. Решила пойти прямо по твердому насту к селу, расположенному не особенно далеко. Иду и с каждым шагом проваливаюсь в снег. Село вдруг исчезло, как будто его стерли. Спотыкаясь, падая и поднимаясь, увязая в снегу, добралась я как-то до стога сена, неожиданно выросшего передо мной, и стала осматриваться.

Село, куда я держала путь, как-то слилось с общим фоном, и его не видно. Но вижу то село, откуда вышла. Направляюсь туда. Почти скатываюсь с холма и подхожу к первой хате. Стучу. Ласковый голос приглашает войти. Воскресенье, все в церкви, дома одна хозяйка. По убранству вижу, что люди небогатые, и мне становится легче на душе. Бедные люди отзывчивее, более чутки к чужому горю, всегда покормят. И хозяйка, и пришедший вскоре ее муж, и дети необыкновенно ласково отнеслись ко мне. Пробыла у них до утра, затем отправилась дальше, сердечно расставшись с гостеприимными хозя-

евами. Недалеко от села Паланка меня нагоняют сани с грузом. Большой пружинный матрац, на нем сидит молодая женщина, кутаясь в большой теплый платок. Возница — совсем юный паренек, едва ли лет шестнадцати. Увидев меня, еле передвигавшую ноги, женщина велит вознице взять меня. Едем. Вдруг возница задает вопрос: откуда я и что слышно в городе? Я отвечаю ему, а он: «А що з жидамы?» — «А жидив вже нема, усих выбылы».¹ К моему удивлению, моя новая знакомая вдруг заволновалась и резко сказала: «Та нічого подібного, получився приказ вид Гитлера, що неможна бильше зачипаты. Хто остався житы, той буде житы».² Я оглядываюсь и вижу, как в меня впиваются холодные, со злыми искорками глаза. Что делать? Как выйти из положения? Поняла свою ошибку, но поздно. Молча въезжаем в какое-то село. Моя спутница что-то шепчет своему вознице. Тот останавливает лошадей, и мне рекомендуют искать пристанища в этой деревне. А до вечера еще далеко, и я с грустью делаю вынужденный привал.

В этом селе меня приютила одинокая немолодая женщина с бельмом на глазу. Занимала она половину большой хаты. В хате виден достаток. Меня поразила ее сдержанность, поразило и то, что обладательница такого хорошего дома впустила меня, чужого человека, на ночлег. В ней чувствовалась настороженность и желание получить как можно больше сведений о том, что происходит вокруг. Там были и другие люди, они занимали вторую половину хаты и не были похожи на обычных селян. Ребенок был чисто одет. Обращение с ним не похоже на селянское. Узнав, что пришла странница на ночлег, — тотчас прибежали. Я говорила, что иду из Горловки, и, видимо, они жаждали новостей. Как я узнала позже, хозяйка до войны заведовала птичьим двором, даже ездила в Москву на сельхозвыставку. Теперь мне была понятна ее сдержанность.

На другой день добралась до села Счастливое. Отсюда 30 верст до Винницы. Село большое. На краю села — кузница. Вхожу в первый дом. Обыкновенная хата под жестью. Молодая женщина, впустившая меня, ничем не отличается от сельской женщины. Но серые глаза смотрят особенно пытливо и страдальчески. Вхожу в большую комнату. Возле печи, в которой ярко пылает огонь, стоит старуха. В углу нет обычных образов. Ничего не понимаю. Сажусь и с удивлением оглядываюсь. У стены на лавке сидят старик с внуком. Глядя на них, чувствую выражение какой-то обреченности и тоски на лицах и догадываюсь, куда я попала. Это такие же несчастные, как и я. Какая-то сила толкает меня, я немедленно встаю, проща-

¹ «А что с евреями?» — «А евреев уже нет, всех поубивали» (укр.).

² Да ничего подобного. Получен приказ от Гитлера, что нельзя больше их трогать. Кто остался жить, тот будет жить (укр.).

юсь и ухожу. Пристанище я нашла в этом же селе — у трех сестер. Пробыла у них три дня, сославшись на болезнь. Двинуться дальше в трескучий мороз у меня не было сил. На третий день я вынуждена была «выздороветь» и отправиться дальше. Пошла на Липовцы, а оттуда — на Погребище и в Киев.¹ По дороге меня догоняют сани, а следом за ними идет баба. Словоохотливая, рассказывает, как ездила к пленному мужу в Летичев. Теперь возвращается домой. Говорит, что везла много продуктов. Еле добилась свидания с мужем, а большую часть продуктов отдала немцам и украинской охране. Горевала, что муж долго не протянет. «Дай косу в руки — смерть ходячая, — говорит она и утирает слезы. — «И за що так нас бог карав, послав на нас таке лихо?»² — не в первый раз слышу я эту фразу. Не в силах угнаться за быстро идущей женщиной, я приостанавливаюсь. Она нагнала сани и поравнялась с возницей. Тот ей что-то сказал. Та пару раз оглянулась на меня и пошла дальше.

Липовцы. Обычная картина: в центре — масса полуразрушенных домов. Видимо, немцы уже навели «порядок». Прохожу через базарную площадь. Тут же замечаю несколько евреев со знаками, слоняющихся по базару. А вот пристально смотрит на меня еврейка, стоящая у калитки своего дома. Я прохожу мимо, не заводя знакомства. Спрашиваю дорогу на Погребище и быстро иду. На краю местечка стучусь в какую-то хату. И тут же жалею, что вошла. Оттуда несутся пьяные песни. Хозяйка открывает дверь в комнату. У стола сидит парень, видимо, вернувшийся из плена. Поет. Хозяйка подает мне кусок хлеба, а он подсовывает пустую чарку. Сконфуженно улыбается и говорит: «А ты жидивка?» — «Та що ты, господь з тобою»,³ — говорю я. Хозяйка машет на него рукой и говорит, что он пришел из плена и уже три дня подряд пьет. Наконец, улучив минуту, ухожу, сославшись на то, что рано темнеет, а мне еще далеко идти. Пьяный попытался меня задержать, а потом возымел желание увязаться за мной. Но, к счастью, пьяные ноги его не держат, и он тут же опускается мимо скамейки на пол.

Иду — все дальше и дальше. Недалеко от села Очеретное ко мне подходит красноармеец. «Голубушка, дай хлеба», — внезапно говорит он. Человек немолодой, лет сорока. Лицо одутловатое. Рассказывает, что пробирается к Харькову глухими дорогами, так безопаснее, немцев почти нет. Спешит добраться к Днепру до ледохода, а если лед тронется, то на-

¹ Расстояние между Липовцами и Погребищем 45 км. Между Погребищем и Киевом — 171.

² И за что так нас Бог покарал, послав такое горе? (укр.).

³ Да что ты, Господь с тобою (укр.).

деется переправиться лодкой. Даю ему кусок хлеба, он благодарит и уходит. Но как только он перешел дорогу и стал удаляться, меня осеняет мысль, что мне надо было пойти — если не с ним, то хотя бы за ним. Ведь за Харьковом фронт, а я стремлюсь туда. Начинаю его звать, он оглядывается, смотрит в недоумении и вдруг быстро начинает удаляться. Я за ним. Он еще быстрее и, наконец, скрывается за холмом. Решаю, что одной по непротоптанному полю мне не пробраться, поворачиваюсь и иду к раскинувшемуся невдалеке селу Очеретное.

Следующую ночь провела в этом селе, в хате у одной молодой бабы. Ночь была тревожная: в тот вечер всех созвали на сход. Там говорили о необходимости сообщать в сельраду обо всех, кто проходит через село, кто ночует. Каждое село делится на участки, на каждый участок назначается дежурный, который ночью обходит свой участок и проверяет, не пришел ли кто чужой. Еле дотянув до утра, двинулась дальше. Добралась до села Симченцы. На подходе к селу встретила еврейку — в одном ботинке и одной галоше. Растерянно улыбаясь, она обратилась ко мне с вопросом: «Что слышно?» Я ничем не могла ее утешить, и, постояв немного, мы разошлись. Иду дальше. Еврейки выглядывают из дверей домов и смотрят на меня с большим удивлением. Слышу, как крестьянин, сидящий против аптеки, говорит женщине: «Бачиш, це жидивка, але не признається». — «Ну, то що ж ты хочеш?»¹ — говорит она. Спешу уйти из села. Солнце светит так ярко, снег лежит такой сплошной ослепительной пеленой, что глазам больно. Начинает одолевать усталость...

Меня нагоняют сани, на которых полно людей: старик, парни, две девушки. На санях лежат вещи. По-видимому, едут по набору в Германию. Я остановилась, пропустила сани, и с губ сорвалась просьба подвезти. К моему удивлению, сани остановились, и мне помогли на них взобраться.

Оказывается, они едут в Погребище — оттуда отправляют второй набор в Германию. Публика грустная. Нет веселых песен и разговоров, как, говорят, было при отправке первого набора. Старик начинает меня расспрашивать, куда и откуда я иду. Мне это не по душе, но я говорю, не подумав, что я из села Счастливое. Как на грех, старику село знакомо, он начинает расспрашивать о старосте, об агрономе, о ветеринаре. Даю уклончивые ответы, и в серых глазах старика начинает светиться подозрение. Приближаемся к Погребищу. Решила сойти с саней. Прошу остановиться, ссылаясь на необходимость зайти кое-куда. Схожу, благодарю и вхожу в первые же ворота. Затем, не зная, куда идти, направляюсь по

¹ «Знаешь, это еврейка, но не признается» — «Ну что же ты хочешь» (укр.).

одной из улиц и выхожу прямо к полиции. Вся площадь возле нее занята санями. Это привезли из района детей — для отправки в Германию. Возле полиции все чего-то ждут. Прохожу мимо и чувствую, как их глаза буквально впиваются в меня. Кто-то о чем-то шепчет стоящему у дверей полицая. Тот в дорогом синем пальто, на голове каракулевая шапка, морда красная, глаза маленькие, белесые. Вдруг слышу окрик: «Гражданка, документ покажите!» Останавливаюсь, корзинку — на землю, и начинаю искать документы. Единственный документ о том, что я фельдшер из Умани, почему-то боюсь показать. Шарю, шарю по карманам и ничего не показываю. На площади молчание, все наблюдают... Меня охватывает чувство обреченности. Безразличие и апатия вытесняют все. «Где ж документ?» — еще раз спрашивает полицай, глядя мне в глаза своими холодными светлыми глазами. Я мну первую попавшуюся бумажку и подаю прописанный мне в поликлинике рецепт, каким-то образом застрявший в кармане. Он читает, в недоумении поднимает брови и говорит: «Стойте, я пойду спросить». Толпа молча смотрит на меня. Я вспоминаю, что у меня есть про запас морфий, достаю, разворачиваю и высыпаю на язык. Глотаю и тщательно облизываюсь. В толпе проносится шепот. В это время полицай выходит и зовет меня в полицию. Комната большая, людей довольно много. Ко мне подходит молодой парень в форме красноармейца. Неподалеку сидит начальник полиции и прислушивается к тому, что происходит. Начинается допрос. Как я узнала позже, парень в форме красноармейца — пленный, работает в качестве переводчика. Спрашивает меня, откуда я и куда иду. Ответы даю сбивчивые, путаю. Боясь сказать, что я из Умани, говорю, что из Ростова. Опыта в этом деле нет, я не успела подготовиться. Переводчик все записал, внимательно на меня посмотрел и пошел докладывать шефу. Я осталась сидеть на скамейке. Сижу и думаю: «Неужели сегодняшний день — последний в моей жизни?.. Вот скоро куда-то поведут, начнут мучить, пытать. Хоть бы яд скорей начал действовать». Меня тревожит, что я приняла неопределенное количество морфия, да еще в сухом виде, без воды. А смертельная доза должна быть точная. Вдруг яд не окажет нужного воздействия? Проносится мысль о дочери. Эта мысль обжигает меня огнем. «Так вот что мне на роду написано», — думаю я. Неужели суждено мне погибнуть как собака, и никогда никто из моих родных и любимых ничего не узнает обо мне, о моих страданиях! Покорность судьбе овладевает мной. В это время входит один из парней, ехавших со мной на санях, подходит к начальнику полиции и рассказывает о нашей встрече, о том, что я выдала себя за жительницу села Счастливое, а никого оттуда не знаю — судя по

тем ответам, какие давала старику, что ехал с нами. Дав такие «ценные» показания, он ушел.

Вдруг входит щегольски одетый немец лет сорока — сорока пяти. Все вскакивают. Только одна я сижу, опираясь на свою дорожную палку. Ему указывают на меня. Он делает несколько шагов в мою сторону, останавливается и говорит: «Скажите ей, чтоб она встала». Я притворяюсь, что ничего не понимаю, и продолжаю сидеть. «Встаньте», — говорит, обращаясь ко мне, переводчик. Поднимаюсь. Немец подходит, поворачивает мою голову так, что ему виден мой профиль, и говорит: «Юде». Я усмехаюсь. Маска сорвана. «Отправьте ее в гетто, но пусть она обещает, что больше не будет расхаживать», — говорит немец. Мне переводят, затем пишут записку старосте еврейской общины, чтобы приписал меня к гетто. Переводчик подходит и говорит мне: «Я принял вас за польскую шпионку. Почему вы так боитесь нас? Почему вы не сказали мне правду?» Я пожимаю плечами и молчу. Ответ и так ясен. «Почему вы ушли из гетто?» — «Я не желаю жить в гетто! Лучше погибнуть в лесу, на дороге, но на свободе». Он стоит и внимательно слушает. Помню, как полицай говорит переводчику и начальнику полиции: «А я не даром стою на часах, видите, поймал ее».

Приказано идти в гетто. Знакомая картина. Кругом полуразрушенные дома, а три-четыре домика густо набиты евреями. Я зашла к старосте, протянула бумажку от начальника полиции. Сбежались евреи, начали расспрашивать, откуда я. Задыхаясь от слез, я рассказала им, что переживали евреи в Умани. Оказалось, что в Погребнице евреям жилось лучше, чем в Умани. Здесь тоже два раза устроили кровопролитие, но местная власть уже не так издевалась над населением. Людей тоже отправляли на работы, но относились к ним несравненно мягче. Объясняли это тем, что начальник полиции Кравченко в свое время пользовался покровительством евреев, был с ними в большой дружбе, поэтому сейчас не проявлял жестокости.

Мне дали чаю, и у меня началась ужасная рвота. Потом, окончательно обессилев, я уснула. А полицай, задержавший меня, два раза приходил смотреть, не сбежала ли я.

Утро я встретила совсем измученной. Ожоги во рту причиняли большие неприятности. Я совсем забыла о том, что приняла морфий, и не понимала, откуда у меня такое состояние. Через день мне дали продуктов на первое время и отвели на постоянную квартиру, предоставленную старостой. Эта квартира была в стороне от гетто. Там жили молодой еврей — бывший старший лейтенант, попавший в плен, — его жена, рыжий парень лет семнадцати Люся и извозчик из Сквиры, некий Ш., тоже бывший пленный. Молодая хозяйка, еврейка из Поль-

ши, в 1939 году со всей своей семьей попала в Сибирь на лесоразработки. Не раз она вспоминала недавнее прошлое: «Когда нас Советы отправили в Сибирь, мы были возмущены и проклинали советскую власть. А вспомнить теперь, как нам жилось, — не верится. И чего нам не хватало? Чего мы дурили? Я работала на лесоразработках, отец — портной в поселке, мать дома хозяйничала. Первое время, пока мы устраивались, здорово скучали по родным местам, а потом привыкли и зажили, ни в чем не нуждаясь. Отвозили меня на работу на машине, начальник и бригадир относились к нам хорошо, вскоре меня начали премировать — и чего только не было у нас из мануфактуры и обуви! Вспомнить — самой не верится. Но захотелось мне назад в Европу. Стала хлопотать, чтобы разрешили выехать на запад. Начальник мне говорит: «Зачем, Маня, едешь? Будешь жалеть!» Получили мы разрешение и поехали. Доехали до Казатина как раз в июне 1941 года. Попали к немцам и попробовали «жизни». Родители ее погибли в предыдущие погромы, а она осталась и сошлась с молодым лейтенантом. Жили они в квартире родственника мужа и выменивали на еду все оставшееся в доме. Меня поражало, как часто и свободно заходили сюда для обмена селяне, а нередко — и просто в гости.

Как-то раз, придя домой, застаю полиция Семко и моих хозяев, мирно сидящих вокруг железной печки и о чем-то беседующих. Вдруг входит Люся. Полицией со смехом обращается к нему и говорит: «Ну, каково тебе было? Получил удовольствие?» Люся багрово краснеет и что-то бубнит. Оказалось, месяц тому назад Люся жил на квартире в гетто у одних евреев, приютивших его и очень сердечно за ним ухаживавших. Мальчик в прошлом был сыном состоятельных людей, привык к беззаботной жизни и сам первое время не умел себя обслуживать. Каким-то образом он раскрыл один из «секретов» своих родителей и нашел большую сумму денег и много ценностей. Все это он спрятал на чердаке в том доме, где жил, и кто-то все украл. Несмотря на то, что в доме жило много семейств, подозрение пало на тех, кто его приютил, и их обвинили в похищении ценностей. Каким-то образом все стало известно немцам. В один прекрасный день немцы оцепили весь дом и стали требовать ценности. Хозяева Люси категорически отказывались, уверяя, что ничего не брали. Тогда немцы устроили экзекуцию: пятнадцатилетнюю девочку, дочь этих людей, изнасиловали все. По приказанию немцев в этом принял участие и Люся, а затем немцы и несчастного отца пытались заставить насильно собственную дочь. Он отказался — и они избили его до потери сознания.

Как-то вечером, приблизительно через месяц после моего водворения в гетто, к нам вдруг пришел староста общи-

ны. Позже я узнала, что это был человек самой низкой пробы, способный на все. Он ласково со всеми поздоровался и сказал, что пришел специально ко мне. Все замолчали. «Я пришел к вам, — начал он, — вот зачем. Полицай, который задержал вас возле полиции, пришел ко мне и требует, чтобы вы отдали ему ваше коверкотовое пальто». Молчу, соображаю, как быть. Пальто у меня единственное, отдам — не в чем будет идти, а кроме того, денег у меня почти нет, и я рассчитывала обменять его на что-то попроще, но с денежной доплатой. «Чего вы молчите?» — спрашивает меня староста. «Я пальто не отдам, — ответила я, — это все мое имущество. Чем ваш полицай может мне угрожать? Грабить он не имеет права, это расстрел. Если бы он имел право безнаказанно взять, он давно бы это сделал. А я... я перешла за грань: мне все безразлично и не страшно, я заканчиваю счеты с жизнью». В комнате воцарилась гробовая тишина. Вдруг жена лейтенанта, хозяйка квартиры, застонала: «Боже, нас будут мучить, к нам начнут ходить полицай!» И упала на кровать — похоже, что в обмороке. Муж бросился к ней, начал брызгать на нее водой. Староста поднялся. «Я уйду, — сказал он, — но советую вам подумать. Если б вы спросили меня, я бы посоветовал отдать пальто, а взамен я вам завтра же пришлю жакет. У нас многие ходят в простых жакетах, можете и вы ходить без коверкота». Я подумала: мне в этом доме жить, полицайи будут ходить и глумиться, евреи будут считать меня причиной их новых терзаний... «Берите», — сказала я в последнюю минуту, когда он уже закрывал за собой дверь. Он вернулся, велел взять пальто и вынести во двор, где ждал полицай. Я вышла, держа в руках пальто. Староста пошел за угол и вернулся оттуда вместе с полицаем. «У нее не в чем выйти, это ее единственное пальто», — сказал ему староста. «Завтра пришлем жакет», — ответил полицай и многозначительно посмотрел на старосту. Я вернулась в квартиру. Теперь заговорили все. Моя хозяйка, со свойственной ей хитростью, говорила и за, и против; извозчик из Сквиры выражал свое возмущение старостой, который старается выслужиться перед полицаями. Я молчала. Что я могла добавить? Вскоре я ушла на свое ложе — место моих тяжелых испытаний. Спала я в маленькой комнатке, на диванчике возле печки. Конечно, ни о каких постельных принадлежностях не могло быть и речи — укрывалась своим пальто, которое у меня теперь отобрали. У окна на перинах спал Люся, на кровати, что была подальше, — извозчик Ш. Люди они были порядочные, вели себя прилично. Извозчик был очень чистоплотен. А Люся был страшно завшивлен. Если мне удавалось сразу погрузиться в сон и не слышать, как Люся чешется и рвет свое тело, — это было большой удачей, но если я становилась свидетельницей

его борьбы с паразитами — я теряла покой, и чувство отвращения и брезгливости долго мучило меня. Хозяйка квартиры вызвалась ухаживать за Люсей, и поэтому он перешел к ней. Но она не знала, как надо бороться с завшивленностью. Я объяснила ей, и через некоторое время общими усилиями мы привели его в надлежащий вид.

На следующий день я сидела дома, так как мне не в чем было выйти. Жду еще день, другой, третий. Жакета не несут. Выпросила у хозяйки ее жакет, натянула и пошла к старосте. Как только он меня увидел, поднялся и ушел — якобы по неотложному делу. Через день я явилась снова, но он ушел из квартиры, как только я показалась на его улице. По-видимому, его предупредили. Как-то я зашла к нему на квартиру и застала там симпатичного старика — часовщика Вайнера и другого старика — бывшего фотографа, в прошлом очень зажиточного. Я стала им жаловаться на старосту. Каково же было мое глубокое изумление, когда на меня накинулся бывший фотограф. Он стал защищать старосту, а мне, коли здесь не по нутру, предложил отправиться обратно в Умань. «Дорога в Умань открыта, — закончил он свою тираду. — И можете тем же путем, каким пришли, отправиться обратно».

Я была ошеломлена и не знала, что сказать, а старик Вайнер сидел бледный как стена. Потом поднялся, чтобы уйти, и предложил мне зайти к нему. Я зашла. Он принял меня очень тепло, выразил свое глубокое негодование по адресу «наших». С тех пор этот старик стал моим большим другом и покровителем.

Так прожила я в Погребище три месяца. Тяжелые переживания как-то спаяли многих. Мне показали одного старика, в прошлом очень богатого и очень скупого. Сейчас он сильно изменился. Потеряв свою семью, приютил вдову с тремя детьми, кормил их, полностью содержал, заботился о них, как хороший отец. Вдова говорила о нем с глубокой благодарностью. Старик Вайнер тоже потерял жену и единственную дочь двенадцати лет. Сын ушел в армию. Сам он каким-то чудом остался жив. И помогал всякому, кто нуждался в помощи. Кормил каждого, кто попадал к нему в дом. Все это он делал необыкновенно тактично, не нанося ни малейшей царапины человеческому самолюбию тех, кому помогал.

Пришла весна. Побежали ручейки, и камни, очищаясь от грязи, высовываются из воды. Вижу, на своих кривых ногах ковыляет домой старик Вайнер. Вдруг он останавливается и долго-долго стоит. Смотрит, как бежит весенняя вода. Подхожу к нему. Он стоит и говорит, будто в забытьи: «В прошлом году так же бежала весенняя вода, солнце так же ярко светило, было тепло. Я шел домой. Недалеко от моего дома,

где мне было так хорошо, стоит моя девочка с подружками, они пускают кораблики из бумаги. Много корабликов спустились и громко хлопали в ладоши, радуясь, когда поплыл бумажный караван. Увидев меня, она подбежала и закричала: «Папа, дай двадцать копеек на конфеты». Я дал ей рубль, взял ее за ручку, погладил по головке. Она вырвалась и убежала. На улице было так шумно, так людно. Где все? Где люди? Дети? Куда все подевались? Господи, что случилось?» Мы молча постояли и вместе пошли к его дому.

Вечером прихожу домой и застаю молодого человека, который работал пекарем на хлебопекарне. Он был хороший специалист, хлеб его был удивительно вкусным, и немцы его не трогали. Вместе с ним работал его брат, тоже мастер своего дела. Пекарь просидел у нас весь вечер, рассказывая, как евреев вели к кагату¹. Как дети, не зная, куда идут, бежали впереди родителей, затевали по дороге игры и шалили. Молодую девушку, большую брюшным тифом, немцы приказали прямо на кровати вынести на улицу и поставить в ожидании своей очереди. Пошел проливной дождь, а она лежала в одной сорочке, не в состоянии повернуться. Какой-то иностранец, вроде бы корреспондент, стоял под зонтиком и долго смотрел на эту девушку. Одна женщина спросила этого парня: он что, думает, с ним никогда не случится подобного? Ведь и его, возможно, ждет самая поганая смерть, и его могут послать, как барана, на бойню.

В этот момент пришел домой Люся — в страшном возбуждении. Сегодня он попал на работу в комендатуру. Немцы с утра собрались куда-то ехать, но почему-то не поехали. Чувствовалось, что происходит что-то необычное. Оказалось, как шепотом передавали друг другу, что еще вчера в лагерь повезли партию пленных. Сопровождали их около пяти человек — немцев и полицаев. Недалеко от леса один из пленных вдруг хлопнул в ладоши. Это послужило сигналом, и пленные набросились на охрану. Одного немца изрезали, остальных прикончили и разбежались. Только одному полицая удалось убежать. Он и сообщил о случившемся. По рассказам, среди пленных был один генерал. Якобы он и организовал нападение на немцев.

Рассвирепевшие немцы в бешенстве прикончили на дороге пятьдесят два человека — случайных встречных. Теперь они ездят в полном вооружении. А до этого были очень самоуверенны и отправлялись в дорогу легко вооруженными.

С большим интересом слушали евреи эту новость. «Да, только бы до лета дожить, только бы лист зеленый покрыл

¹ Кагат — куча овощей, сложенная для хранения в поле. Здесь — в поле за деревню на расстрел.

деревья, а там будет что-то другое», — сказал пекарь, парень крепкий и здоровый. И добавил: «Не так страшен немец, как его малюют». Не знаю точно, но думаю, что он пошел в партизаны.

В начале мая в гетто распространился слух, что появилась еврей из Ружиковки. Я застала этого человека на квартире у часовщика Вайнера. Тот рассказал, что 1 мая в Ружиковке всех евреев забрали из гетто. Сам он узнал об этом, будучи на работе, и немедленно убежал из города. Мне было ясно, что будет дальше, следовательно, надо уходить. Но прежде чем двинуться в путь, мне нужно было достать для себя какого-нибудь яда. Я бы чувствовала себя уверенней, зная, что в страшную минуту, в минуту безвыходную, смогу избежать мучений. На сей раз мне удалось, хотя и с большим трудом, раздобыть приличную порцию опия.

В один из этих дней было приказано немедленно отправить в Житомир четырнадцать специалистов: шапочников, портных, кожевников, слесарей. Они уехали. Об их дальнейшей судьбе мне ничего не известно.

Попрошавшись только со стариком Вайнером и соблюдая строгую тайну (главное, чтобы староста не разнюхал), я решила двинуться в путь.

В последнюю ночь в нашу квартиру ввалился пьяный полицай. Кто его впустил и открыл ему двери, для меня осталось неясным. Пришел он, как потом оказалось, к молодой еврейке, случайно попавшей к нам на ночлег. Полицай ввалился в комнату, в темноте нащупал мою голову на кушетке и сразу опустился возле меня на пол. Я растерялась и не могла сообразить, что делать. Но затем заговорила плачущим старушечьим голосом: «Хто такый, що трэба?»¹ — «Тише, тише», — слышу я возле себя пьяный голос, и меня обдает запахом сивухи. «Слухай, сыну, — говорю я, — до кого це ты пристаеш, до старухи, який шестьдесят рокив. Я ж твоя бабуса, над тобою люди будуть смиятись».² В это время в следующей комнате кто-то тихонько стал открывать окно и вылезать наружу. Мой пьяный гость, услышав шорох в соседней комнате, направляется туда, натываясь в темноте на мебель. Слышу — ищет дверь, наконец с шумом открывает ее и выходит.

Лежу, жду рассвета. Как только немного рассвело, укладываю свои жалкие пожитки и поспешно выхожу на улицу. Местечко еще спит. Иду на мощеную дорогу по направлению к заводу, оттуда поднимаюсь вверх в поле.

¹ Кто такой, что нужно? (укр.)

² Слушай, сынок, к кому ты пристаешь, к старухе, которой шестьдесят лет. Я же тебе в бабки гожусь, над тобой люди будут смеяться (укр.).

Весна — поздняя. Кругом чернеет земля. Я направляюсь в Плисково.¹ Прохожу мимо станции Погребеще, тщательно обхожу жилые места, держусь от них подальше. Несмотря на то, что опять иду в «неведомое», чувствую себя спокойно. В Плискове, в гетто, жила, по моим сведениям, сестра моей приятельницы, тоже чудом уцелевшая. Сознание, что там меня хорошо встретят, сочувственно отнесутся, что у меня там «свой», почти родной человек, наполняло меня каким-то особым чувством. Полное одиночество, безразличие со стороны окружающих угнетало меня, и сейчас я так радовалась тому, что буду не одна.

А вот и Плисково. Поднимаюсь туда по большой дороге. Меня догоняет крестьянка из соседнего села, спешащая в Плисково на базар. Она не узнает во мне еврейку, жалуется на трудности нашего времени, и я слышу: «За шо, господи, нас так наказав? Мы, видно, дуже його прогнівали, не молили, церкві розкидали. Казали, що бога нєма, ось и заслужили, ось нам бог и прислав антихриста».²

Входим в местечко. Идем мимо базара. Вижу еврейку, покупающую что-то у крестьянки. Вхожу в покосившуюся хибарку, где живет моя знакомая. Обычная картина: в одной комнате несколько семейств. Домик густо заселен.

Приняли меня очень радушно. Моя знакомая так же одинока, как и я. Мужа ее убили еще при первом погроме. Она работает в артели вышивания. Организовали эту артель, чтоб как-нибудь уйти от черной и грязной работы. С ней вместе в комнате живут муж и жена. Он — бывший бухгалтер Плисковского здравоотдела, в прошлом человек, свободный от религиозных традиций, обрядностей. Гестаповцы убили его десятилетнюю единственную дочь. В тот день, когда озверелые фашистские отряды начали плановое истребление евреев в Плискове, родители заперли девочку в заброшенном пустом доме. Сами они по какой-то причине застряли в другом месте. Девочка испугалась, вылезла из засады и попала в руки к немцам. Все пережитое так повлияло на несчастных родителей, что они впали в какой-то религиозный транс. Каждое утро они (особенно он) долго молились, придерживались выполнения таких обрядов, о которых давно никто не вспоминал, постились по понедельникам и четвергам, целые дни проводили над изучением еврейских фолиантов. Такой же религиозный экстаз приходилось наблюдать мне в гетто в Умани. Когда-то это были свободомыслящие люди, счи-

¹ Расстояние между Плисковым и Погребещем 19 км.

² За что, Господь нас так наказал? Мы, видно, крепко его прогневали: не молились, церкви разрушали. Говорили, что Бога нет, вот и заслужили, что Бог прислал нам антихриста (укр.).

тавшие себя атеистами. Каждый раз, когда объявлялся пост, все гетто подчинялось этому постановлению. Но, увы, это не помогало: гитлеровцы по-прежнему зверствовали, и евреи погибали.

Предвечерний час. Солнце освещает косыми лучами пустырь перед домом. Посреди этого пустыря яма, кругом вал из свежей глины. Из этой ямы обитатели противоположного дома сегодня вытащили много вещей. Гетто шумело и волновалось по поводу счастливой находки. Найден «секрет», клад, и оттуда изъято много мануфактуры, швейная машина и еще многое, о чем счастливцы не желают никого ставить в известность.

Возле домов собираются группы по два—три человека и оживленно обсуждают находку.

Вдруг замечаю, что на меня кто-то пристально смотрит. Недалеко стоит немолодая, со следами былой красоты женщина со странным выражением лица. Я приветливо кивнула ей. Она подошла и заговорила: «Я знаю, вы горюете, что не знаете ничего о вашей единственной дочери, которая ушла в глубь страны (видимо, моя знакомая успела рассказать кое-что обо мне). Вам очень тяжело, но вы не сознаете, какая вы счастливая». Молчу и смотрю с удивлением, не зная, в чем же мое счастье в таком положении. «Вот мое горе не имеет ничего равного себе в мире», — и она стала рассказывать.

У нее была красавица дочь, ученица десятого класса. Девочка, и вообще очень способная, отличалась исключительными способностями к танцам. На олимпиаде одаренных детей в Киеве получила первый приз. Она заканчивала школу и готовилась к поступлению в балетное училище. Пришли немцы. Наступил день, когда по приказу Гитлера нужно было уничтожить всех евреев. Мать спряталась в одном месте, а дочь — в другом. Страх за мать и желание защитить ее, спасти заставили девочку выйти из тайника, и она попала в руки полицаяв. Три дня издевались над ней негодяи, три дня насиловали девушку. Наконец, на третий день, повели ее на казнь к кагату. Девочка шла, еле волоча ноги. Она была вся отекая, и только большой палец правой руки зажала между зубами. И так, по рассказам очевидцев, приняла смерть. «А я все еще живу», — закончила женщина свой страшный рассказ, странно улыбнулась и отошла в сторону. Теперь я поняла: я была счастливее.

На следующий день стало известно, что в Погребнице с вокзала, где жили несколько еврейских семейств, всех, со всем скарбом, на машине перевезли в местечко — в гетто. Вечером прибежала девушка, работавшая уборщицей в комендатуре, и сообщила, что всех районных полицаяв собирают на конференцию, где их будут инструктировать. Было

ясно, какого рода инструкции может дать украинскому полицейскому немецкая власть. На следующий день, рано утром, я попрощалась с гостеприимной хозяйкой. Она очень волновалась по поводу того, как я пойду без документов. Но я ушла из Плискова.

Медленно иду по дороге, идущей вверх и в сторону от местечка. Направление взяла на Кожанку, в которой жили родственники одного знакомого врача. Я решила попытаться через них получить возможность поселиться без документов в качестве родственницы у кого-нибудь из украинцев.

Вдруг из калитки одного из дворов выходит молодой человек, в руках у него палка. Он направляется ко мне. «Куда, тетушка, и откуда?» — слышу я ласковый голос. «Иду из Киева в село к родным». — «Из Киева?» — удивленно повторяет он и наклоняется ко мне: «Если дорога вам наша земля, если вы из земли русской — скажите, что слышно в Киеве?» Я удивленно посмотрела на его взволнованное лицо. По виду учитель. — «Что с того, что я с земли вашей, что мне дорого все русское? Ничего, кроме плохого, сообщить вам не могу. Плохо, очень плохо», — отвечаю я. — «В Киеве террор?» — сразу спрашивает он. Я киваю и говорю: «Страшный. Ловят людей, угоняют неизвестно куда, расстреливают всех, кого хотят. И даже шестьдесят бандеровцев расстреляли, как только вошли. Так что и эти предатели «удостоились».

Иду, думаю о встрече, о том, что мне делать, как быть. Не успела отойти полкилометра, смотрю — сидят молодые люди, муж и жена, отдыхают. Присела к ним. Необходимость знать обо всем, что происходит вокруг, научила меня использовать каждую встречу. Еще зимой я узнала о том, что в Виннице немцы окружили базар, ловили людей, бросали в машины и куда-то увозили; в Киеве окружали театры, кино и тоже ловили. После пяти часов вечера в Киеве, по рассказам, находили трупы с запиской: 5ч. 5м. или 5ч. 8м. Это означало, что человек попался на глаза через 5—8 минут после дозволенного срока. Рассказывали о том, как на Куреневке публично повесили рабочего, опоздавшего на пять минут на работу. Я взяла на себя роль разносчика таких сведений и делала это особо старательно. С большим удовольствием я рассказывала, как под Погребищем пленные разоружили конвой, как убили охрану, забрали оружие и разбежались. Предупреждала, чтобы не направлялись в ту сторону. Часто на моих глазах пленные, получив такую информацию, меняли свой маршрут.

Немного отдохнув и получив сведения о положении в Горловке и вообще на Донбассе, я пошла дальше.

Еще немного — и Плисково осталось за горизонтом. Дорога лежит через небольшую низину, мимо почти высохшей

речки. Прохожу через мостик, и вдруг, впервые за все время, во мне начинается борьба двух «Я»: одно велит идти вперед, другое — вернуться в Плисково, где есть приют и родной человек. Останавливаюсь. Стою и думаю, как быть, что сейчас для меня лучше. Стою довольно долго, потом возвращаюсь, но скоро опять иду вперед. И так, наверное, в течение двух часов. Это было раздвоение воли, состояние, которое в дальнейшем не раз охватывало меня и с которым мне приходилось вести отчаянную борьбу. По-видимому, это было связано с общим ослаблением организма, нервной системы.

Меня догнали несколько баб. Одна из них начала меня спрашивать, куда и зачем я иду. Чтобы объяснить свою нерешительность — куда направить стопы, — говорю, что в Плискове забыла у родных свои ботинки и теперь не знаю, как быть: вернуться за ними или ждать, когда кто-нибудь приедет и привезет. «А мы вже давно слидкуємо за вами, бачили як ви йдете та вертаєтесь, й думали, когось чекаєте».¹ Когда я это услышала, то решила впредь идти только вперед и больше не поддаваться игре нервов.

Проходя по селам, я имела возможность убедиться, что правильно объясняю причину своего путешествия, что я уловила верный тон. Из Киева шло много людей, буквально ползли, как мухи, и многие устраивались по глухим селам. Так что я влилась в общее течение и не привлекала особого внимания.

Рано утром иду из села Ивахны на Юстинград. Я очень голодна и хочу попытаться купить молока. У меня есть спички, иголки, еще какая-то мелочь, чем я решила заплатить. Мальчишка-пастух указал мне хату, где можно достать молока. Вхожу туда. В первой хате на лежанке лежит старуха, с печи выглядывает старик, молодая с ребенком на руках — у печи. Поздоровавшись по раз заведенному правилу, крещусь на образ. В этот момент из другой комнаты быстрым шагом выходит молодой человек с карими глазами и тупым носом. Его аккуратную фигуру охватывает бумажный коричневый свитер. Есть что-то порывистое в его движениях. Он взглянул на меня, стоящую перед образами, гримаса прошла по его лицу, и он немедленно вышел из хаты. Это заставило меня насторожиться. Наверное, «немецкий деятель», подумала я. Вот поймалась! Побежал, наверное, за полицаем.

Отступать поздно. Прошу молока. Мне радушно наливают чашку и подносят хлеба. Пока я ем, молодая начинает разговор. Тот, который вышел, оказывается, ее брат, вернувшийся из плена. Его жена с детьми эвакуирована в Орджо-

¹ А мы уже давно следим за вами, думали как вы идете, да возвращаетесь, и думали кого ждете (укр.).

никидзе. В первую минуту молодая хозяйка приняла меня за его жену, решив, что та пришла. Затем стала жаловаться и рассказывать, как плохо сейчас живет в деревне. Гонят на работу, все забирают, на стариков вообще ничего не дают. С глубокой грустью вспоминала она, как было раньше, при Советах, в каком почете были старики, как государство о них заботилось.

Наконец я закончила свой завтрак и собралась уходить. Не успела выйти, как быстрым шагом возвращается тот, кого я приняла за немецкого «деятеля». «Подождите, не спешите, зайдем в хату», — говорит он, не то приглашая, не то приказывая, и сразу открывает двери во вторую комнату. «Расскажите, что знаете, откуда идете». Но меня не покидает недоверие, и я пытаюсь уйти. Идет со мной. Еще рано, прохожих нет. Выходим за село. Недалеко от села девчата прочищают ров. «Так им и надо, — говорит в сердцах мой новый знакомый. — Ждали немцев, пусть лижут мед. Немец школы позакрывал, учиться им не надо, пусть работают, как лошади». Признался, что он старший лейтенант, семью отправил в Орджоникидзе, сам пошел воевать и попал в плен. Во всем винит измену, которая, по его словам, свила себе прочное гнездо, и рассказал: до него дошли слухи, что в некоторых местах за месяц до прихода немцев в крестьянских клунях¹ отлеживалось до 100-150 немцев, которым устроили санаторий. К сожалению, и до меня дошли такие слухи. Еще в Умани слышала об этом от одной женщины, бывшей ученицы медицинской школы, жительницы села К., находящегося недалеко от Умани. Она рассказала мне об этом странном факте и заметила, что теперь мужички чешут себе затылки и жалеют о своей глупости.

Мой собеседник говорил обо всем этом с глубоким возмущением: «Пусть чухаются, — сказал он, — если у них нет чести и головы на плечах». Он откровенно признался, что его пребывание здесь кратковременно и в ближайшем будущем он уйдет, чтобы как-нибудь пробраться к своим.

Я рассказала ему все, что знала: о побеге пленных под Погребищем и о терроре в Киеве...

Увидев кого-то на поле, он быстро со мной попрощался. Мы крепко пожали друг другу руки и разошлись. Я отошла от села, присела на бугорок недалеко от дороги и задумалась. Мучило, почему не расспросила его, как пробраться к фронту. И почему не заговорила с ним об организации партизанского отряда? Ведь ему-то, старшему лейтенанту, и карты в руки.

Смотрю, едет на волах мальчишка, телега еле движется. Я к нему, говорю, что мне надо подъехать в Ивахны. Мальчишка, не поворачивая головы, позволяет сесть. Еду и думаю:

¹ Большой сарай (укр.).

куда? зачем? Ведь за таким, как этот старший лейтенант, наверное, следят. Еще подведу человека под неприятность. Доложат, что пришла какая-то женщина, потом ушла и тут же вернулась. Прошу возницу остановиться. Иду обратно, предоставив лейтенанту самому решать, что делать. Быстро пошла вперед, миновала встречное село, в Шарнипеле отдохнула и пообедала у какого-то старичка. К нему в гости пришли дочь с сыном. В разговорах этих людей сквозила неприкрытая ненависть к немцам. Сын, паренек лет шестнадцати, рассказывал, как в школе бьют сейчас учеников, как их учитель с гордостью говорит теперь, что раньше он был «подпольным» работником, — и проповедует воспитание розгой. Он считает, что розга благотворно влияет на юношество.

Ушли они от старика сразу после обеда. А мне посоветовали передохнуть здесь до утра. Однако после их ухода я немедленно отправилась в дальнейший путь. Едва вышла из села, встретила двоих селян. У одного из них были пила и стамеска. Видимо, он столярничал. Он остановился и приветливо заговорил со мной. Второй поспешил уйти. Мой новый знакомый с жадностью стал расспрашивать, что нового. Его простодушная физиономия располагала к откровенности, и я рассказала ему все, что знала. Он слушал с величайшим вниманием, а в конце загнул такую матерщину, что мне с непривычки стало не по себе. Эту ночь я провела в его доме. Его жена, очень симпатичная женщина, отнеслась ко мне исключительно радушно.

Наутро я пошла дальше. Добралась до села Кожанка. Здесь мне надо было узнать, где живут родные одного врача — я с ним вместе работала, правда, не помню фамилию. Вижу, у ворот стоит человек. Спрашиваю, где живут те люди, брат которых служил в Умани врачом, а дочь — лекпомом. Стоит, сощурился глаза, и, видимо, перебирает всех в памяти. Вроде бы не знает. Я добавляю, что их дочь зовут Аней, а на щеке у нее красное пятнышко. Этого вполне достаточно. Я получаю точное направление и описание домика: наполовину «пид бляхою».¹ Быстро иду туда. Приняли меня хорошо. Незадолго до меня к ним из Киева прибыл родственник, которого выгнал оттуда голод. Я обрадовалась, что не была исключена, следовательно, в селе на меня не обратят внимания.

Меня накормили. После обеда поднимаюсь, чтобы поблагодарить и помолиться, как водится в деревне. Хозяин скороговоркой меня предупреждает: «Та не спишить ще крыстыться, ще будете исты кашу з молоком».² По усмешке, пробежавшей по его губам, вижу, что тайна моя разгадана. Жду,

¹ Под жостью (укр.).

² Не спешите молиться, еще будем есть кашу с молоком (укр.).

что последует дальше, но все спокойно. Спрашиваю о знакомом врача Г., которого они прятали. Это был работник из Умани, член партии, он попал в плен. Его вытащила из ямы, выдав за своего родственника, жена доктора Г., женщина смелая и отчаянная, которая многих людей вырвала из рук немцев.

Я возлагала много надежд на то, что через врача, которого искала, смогу устроиться на работу. Просила хозяев сказать, где он сейчас. Но адреса они так и не дали — по-видимому, все-таки не очень мне доверяли.

Утром неожиданно для всех из Умани приехала их дочь, моя старая знакомая. Немцы объявили новый набор в Германию, она ушла с работы и сбежала в село к родным. От нее я узнала, что с конца апреля, уже в течение двух недель, в Умани длится страшный погром евреев, третий по счету. Из всех тайников, из погребов и подземных ходов, из колодцев, выгребных ям, куда несчастных загнал страх смерти, — отовсюду немцы и полиция вытаскивают несчастных и убивают их.

Узнала я также, что в конце апреля 1942 года к гетто подъехали грузовики, окружили гетто и начали отбирать детей, стариков, вообще всех нетрудоспособных — на грузовик, а сильных, крепких — в лагерь на работы. Я услышала длинный перечень моих друзей, знакомых и товарищей по службе, испивших горькую чашу до дна. Бедная Ада со своей матерью попали в лагерь, доктор В. с матерью и сестрой приняли яд и замертво упали перед грузовиком. Его сестра заведовала аптекой и, видно, приготовила точные дозы нужного яда.

И я задумалась: как быть? Паспорта нет, без него трудно надеяться где-нибудь осесть. Приближается осень, а там и зима. Сколько можно ходить вот так, от села к селу?

И решила я идти к моей старой знакомой в село Роги. В прошлом она работала у меня, и мы в былые времена очень сердечно относились друг к другу. Поэтому я снова пустилась в дорогу. Мой добрый хозяин проводил меня за село и показал, куда идти дальше. Прощаясь, сказал мне: «Доктор Г. мени казав: покажут себе нимцы, познаете вы их. Ну й показали себе ци люды, от показали, будь вони прокляты. От лихо!»¹

Уже полдень. Приближаюсь к Юстинграду. По дороге ко мне присоединились две девочки — они шли из соседнего села. Младшая, идя рядом, все разглядывала меня, как бы изучая мое лицо, затем что-то шепнула старшей. Та посмотрела — и они постарались от меня отделиться. Девочки ста-

¹ Доктор Г. мне говорил: покажут себя немцы, узнаете вы их. Ну и показали себя эти люди, будь они прокляты. Вот лихо! (укр.).

ли прибавлять шаг, я начала отставать. Через местечко прохожу с какой-то случайной спутницей — низами: она боится идти мимо полиции, говорит, что полицаи ловят людей, чтобы отправить на работу.

Так я и прошла — благодаря ей. Везде встречаю удивленные взгляды.

За местечком, выйдя в поле, почувствовала себя несколько спокойнее и пошла помедленнее.

Навстречу мне идет старик — босиком, несет за спиной на палке грубые крестьянские ботинки. Мы как-то сразу остановились и заговорили. Идет он с Херсонщины, куда ходил проведать дочку — она там работала. Поговорив, мы решили позавтракать вместе. Я вытащила хлеб, он — сало, стали закусывать, а за едой и языки развязались. Старик рассказал, что видел, как наши мужички поправляют дороги для немцев. «Теперь у наших мужичков нашлось время, — говорит он, — не покладая рук работать и в колхозе, и еще трассу поправлять. И чего бы проще — исправить дороги раньше, для себя — так нет. Раньше, бывало, позовут мужика в сельсовет, велят что-нибудь сделать по общественной линии, а он и не знает, как вывернуться. А теперь все сразу стали паны, а хуже собак, презренные рабы. А раньше говорили «товарищ», и был он полный хозяин», — говорил мой попутчик с глубокой, неподдельной болью.

Оказалось, он учитель сельской школы. «Говорил я раньше, — с горечью продолжал старик, — что чересчур балуют молодежь. Надо было больше нагружать, заставлять работать, а то все танцы, кино. Так они и отвыкают противостоять жизненным трудностям. Дашь даже малую нагрузку — кричат, отказываются, а теперь и на поле работают, и трассу исправляют, и побои получают — и молчат. Если бы не мои уже старые годы, не сидел бы я здесь, а перешел бы фронт и добрался к своим».

С сожалением говорил он и о том, что не слышно о партизанском движении, некому взяться за организацию движения, а крестьяне ведь зашевелились, в их умах произошел резкий сдвиг. Он говорил об этом с большой уверенностью. «Но — нужны такие, как Котовский¹».

Я рассказала ему о старшем лейтенанте, мечтавшем пробраться к своим. Это взволновало старика. «Не пробираться к фронту надо, а здесь устроить такой фронт, чтобы небу жарко стало. Если бы я знал, как найти этого лейтенанта, сам пошел бы к нему просить, чтобы организовал партизанщину. Как только узнаю, где партизаны, — пойду к ним. Ничего, что старик, — пригожусь».

¹ Григорий Котовский (1881 — 1925) комкор, участник Гражданской войны.

Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как к нам стали приближаться двое. Мой собеседник оглянулся и сразу осекся. «Сюда идут двое с нашивками. Это, верно, полицай и переводчик», — сказал он. Мы наскоро попрощались и разошлись в разные стороны.

Быстро иду вперед и чувствую, что за мной идут и что расстояние между нами все уменьшается. Наконец меня настигают. «Куды це вы спешите?» — слышу я. Останавливаюсь. Передо мной двое, оба не очень молодые, лет по тридцать — сорок. Один из них рыжеватый, в бархатной толстовке, второй — в пальто. Отвечаю, что иду в село Роги из Киева. «А документы маєте?» — спрашивает тот, который в пальто. «Ну, а як же! — говорю я развязным тоном. — Як це можна, щоб без документив».¹ Останавливаюсь и решаю показать документ, выданный мне Уманским горздравом: «Выдано Березовской Клавдии в том, что она работала в госпитале для военнопленных в течение месяца 1941 года в качестве фельдшера». В Погребище я почему-то боялась его показать, а теперь решила, что с документом все же лучше, чем без него.

Вынимаю бумажку из кармана и подаю. Ветер рвет ее из рук полицай. Пока он разворачивает и читает, мой мозг сверлит мысль: сейчас меня задержат, арестуют, поведут... и все, что последует за этим, пронесится молниеносно в голове.

Стою и спокойно жду. И к моему великому удивлению, мне возвращают документ со словами: «Фельдшер — это хорошая специальность, очень хорошая. Куда же вы идете?» У меня отлегло от сердца, дышу легче, размереннее. Рассказываю, что иду из Киева, где живу с сестрой и ее ребенком восьми лет. У меня дети на фронте. В Киеве очень тяжелая жизнь, голодно, и всем, кто имеет родных в селе, — велено отправляться туда на жительство. Вот я и иду к родным в село, чтобы выяснять, можно ли туда перебраться с сестрой. Говорю, что очень жаль сынишку сестры, что он голодает, так как жизнь в Киеве невероятно дорогая. Сообщаю цены на хлеб, крупу, фасоль, муку, сало. Все это я хорошо знала от людей, которых пришлось встречать в моем странствии. Меня слушают с интересом, сочувственно кивают. Особенно их интересует, сколько стоят сапоги и мужской костюм. Я говорю, что базары полны вещей, что сапоги можно купить чуть ли не за два килограмма сала или за пуд муки.

«Идите, идите, счастливої дороги, — любезно говорит мне тот, кого я приняла за полицай. — А я думаю, что тетка так быстро идет, дай, проверю документи». Я объясняю, что

¹ «Куда вы спешите? А документи маєте?» — «А как же! Разве можно, чтобы без документив» (укр.).

дело к вечеру и что я спешу пораньше определиться куда-нибудь на ночлег.

Они уходят вперед, а я медленно иду за ними. Подхожу к селу Нестеровка.¹ Прошусь в одну хату на ночлег. Еще довольно рано, но идти дальше нет ни желания, ни сил. Я очень довольна, что меня проверили такие «важные персоны», поэтому ссылаюсь на то, что прошла через контроль. И меня охотно оставляют ночевать.

Молодая женщина качает ребенка. Сама она из России, муж на фронте. Лицо приятное. По ее репликам чувствуется скрытая ненависть к немцам. Свекровь ее, еще совсем молодая баба, довольно любезна со мной, спрашивает, куда держу путь.

Вдруг в комнату входит соседка-украинка. Она неприветливо, исподлобья смотрит на меня и уходит. За ней выходит хозяйка. Чувствую, что говорят обо мне.

Надвигается вечер. Хозяйка наливает суп и зовет к столу. Закончив есть, подхожу к красному углу и крещусь на образа. Позднее хозяйка говорит: «А я казала, що це украинка, а братови кажуть, що жидивка. У нас в Юстингради позавчора усих жидив вирізали».² Теперь я поняла причину тех пристальных взглядов, которые встречала, когда шла по местечку.

Утром чуть свет пошла по направлению к селу Роги³, где рассчитывала достать документ. Я заранее все обдумала и решила, что в Роги зайду вечером, так как село всегда считалось нехорошим. Но ясное летнее утро так успокаивающе подействовало на меня, что я забыла обо всех бедах, о постоянно грозившей опасности и проделала путь быстро. К двенадцати часам дня подошла к речке, по обеим сторонам которой на возвышении очень живописно, как два рога, раскинулось большое село. Я села на берегу и решила опустить в воду свои натруженные ноги. Ко мне сразу подошли несколько мальчиков. Один из них, высокий, хорошо одетый, был, как я потом узнала, сыном старосты. Мальчики долго стояли у речки, недалеко от меня, и бросали в воду камни. Когда я поднялась и пошла в село, вдогонку мне понеслось: «Ух, жидивка». Это сказал сын старосты.

С трудом добралась я до своей знакомой. Узнав меня, она резко побледнела: «Зачем вы пришли? Два дня назад у нас в селе убили пленного врача — за то, что он еврей».

Не успела я помыться, как мимо нашей хаты пронеслись две бабы. Одна из них — мать той Елены Забарчук, что жила у меня

¹ Расстояние между Ивахны и Нестеровкой 39 км.

² Я сказала, что это украинка, а братья говорят, что еврейка. У нас в Юстинограде позавчера всех евреев вырезали (укр.).

³ Расстояние между Нестеровкой и Роги 27 км.

при немцах, другая — случайная знакомая, приехавшая как-то в Умань на базар и попавшая ко мне вместе с моей знакомой из села Роги. Вскоре пришел посыльный и позвал меня к старосте. Я взяла корзинку и пошла вслед за ним. Посыльный, чрезвычайно несимпатичного вида, стал меня расспрашивать, кто я по национальности. «Украинка, — говорю я ему веселым и громким голосом. — А кто ж я могу быть, как не украинка?» — «Ось бачите, а вже кажуть, що жидивка».¹ Подходим к сельраде. Вхожу. Староста посмотрел на меня и сразу позвал в другую комнату для допроса. Мне стало полегче на душе, так как допрос на людях грозил неприятностями.

«Скажите, кто вы», — обращается ко мне староста. Рассказываю, что пришла сюда из Киева на время — к родным, потому что в Киеве очень голодно. «Ну, от, що ж вы не звернулись зразу до мене, на що минуєте вы старосту? Я ничего не маю проти, щоб вы тут доякий час жили. Дайте документ».² Даю все тот же документ, в котором говорится, что я фельдшер. И нечаянно выпадает еще одна бумажка.

Он прочитывает то, что я ему подала, и будто всем доволен. Но в то же время разворачивает бумажку, что выпала случайно. Это выданная мне уманским главным врачом справка о том, что я специалист-лаборант. Он внимательно читает ее, прячет, велит мне привести ту женщину, к которой я пришла, — для получения точных сведений обо мне.

С тяжелым, тревожным чувством отправляюсь я за ней и рассказываю, зачем пришла. Она, увидев меня невредимой, стала крестить себя и меня; узнав же, что ее зовет староста, сильно задумалась.

Мы пошли вдвоем. Я осталась во дворе, а она зашла к старосте. Долго он расспрашивал ее обо мне. Наконец она вышла. По дороге сказала, что я немедленно должна отсюда уйти. Она вошла к себе в хату и вынесла кусок хлеба. Ее зять тоже посоветовал мне уйти как можно скорее.

Вечереет. Быстрыми шагами иду я через поле по направлению к селу Косеновка.³ Из-за поздней весны всходы пока еще невысокие. В поле высятся стога соломы и снопы необмолоченного хлеба. Приближается вечер, солнце быстро уходит с небосклона.

Меня догоняют трое — старик и двое молодых. Идут в село, по-видимому, с работы. Хочется спросить, по какой доро-

¹ «А кто я могу быть, как не украинка?» — «Вот видите, а то говорят, что еврейка» (укр.).

² Ну, вот, что же вы не зашли сразу ко мне, почему вы минуєте старосту? Я ничего не имею против, чтобы вы здесь какое-то время жили. Дайте документ (укр.).

³ Расстояние от Роги до Косеновки 7 км.

ге иди в Косеновку, но мешает недоверие к жителям этих сел, и я молча отхожу в сторону и пропускаю их вперед. Слышу, как молодые говорят старику: «И куды вона йде зараз, вже скоро нич?» — «Певно, йи треба так, — отвечает старик и, тяжело вздохнув, прибавляет: Ну й життя, хай воно сгорить».¹

Они круто сворачивают с дороги и, вероятно, ближайшим путем направляются к селу. А я иду по дороге вперед. Людей не видно. Тишина, только где-то стрекочет кузнечик. Какое-то умиротворение сходит на меня, и в состоянии полного спокойствия я подхожу к селу, которое маячит невдалеке своими белыми хатками.

Месяц уже высоко поднялся на небо, когда я пошла по улицам села, ища пристанища. Как быть, куда стучаться, как подойти к чужой хате и попроситься на ночь? Кто пустит? Кому я нужна? Хожу по боковой улице, не зная, что предпринять. Двинуться вглубь боюсь, чтобы не наткнуться на выконавца.²

Вдруг громкие голоса около какой-то хатки привлекают мое внимание. Прислушиваюсь. Сидят девчата, ведут обычный разговор. Подхожу ближе, здороваюсь и спрашиваю, у кого можно переночевать. Ссылаюсь на то, что пришла поменять материю на продукты и задержалась. Поменять на материю — очень соблазнительно для селян. «А що у вас за материя?» — слышу я вопрос от молодой селянки. Тонем бывалой торговки перечисляю ассортимент моих запасов. Материя на детское платье, случайно попавшая ко мне, соблазняет одну из девушек, и я отправляюсь к ней на ночлег — с тем что рано утром состоится товарообмен.

Заводят в хорошую хату, крытую жостью. Поражает прекрасное шелковое голубое одеяло, которым укрывается хозяйка. Ясно, что создавалось оно не в этом доме. Утром я очень дешево уступила хозяйке отрез на платье, а для себя выменяла большую белую косынку. Повязавшись ею, как обычно носят селянки, отправляюсь дальше, по-дружески распрощавшись с хозяйкой.

Село большое. Хожу, хожу, но никак не могу добраться до края села. Захожу в какую-то хату, спрашиваю дорогу на Умань. Мне охотно рассказывают, дают хлеба и яиц на дорогу — так, без просьбы и даже без намека с моей стороны.

Когда я выхожу, следом выходят старуха мать и молодая. Слышу: «Ей бо, це жидивка». Быстро иду по улице, ведущей вверх. По ней можно уже выйти в поле. Навстречу мне — селянка с красивым лицом, круглолицая, с красиво очерчен-

¹ «И куда она идет сейчас, уже скоро ночь?» — «Наверное ей надо так. Ну и жизнь, гори она огнем» (укр.).

² Выконавец — исполнитель (укр.).

ным ртом и большими серыми глазами, которые поражают холодным блеском. Одета довольно хорошо. Мое внимание привлекает брошка-камея, вычурно пристегнутая у ворота кофты. Женщина останавливает меня и спрашивает, куда я иду. Рассказываю, что иду в Умань, ходила туда-сюда менять кое-что на продукты. Она указывает мне дорогу, и мы расстаемся.

Не успела я отойти от села и полкилометра, как меня окликнули две женщины и девочка лет одиннадцати-двенадцати. Они машут, чтобы я остановилась. Жду. Подходят. Оказывается, одна из них та, что только что со мной разговаривала. Они хотят у меня что-то выменять и просят остановиться, показать мое имущество. Я отвечаю, что у меня нет ничего подходящего для них. Они ждут, пока скроются из виду пешеходы, и хватают мою корзину со словами: «Ах ты, жидивка, покажи свои вещи». Особенно стараются сероглазая и ее девочка. Я стыжу девочку и говорю: «Як тобі не соромно, ты ж школярка? В яку ты громаду¹ ходыла, хіба тебе вчили грабувати?» — «Ходыла в шосту громаду, ну та що ж?»² — развязно отвечает та и вытаскивает из корзины жалкие остатки моего имущества.

В ее мешке исчезли моя единственная рубаша, полотенце, чулки и прюнелевые туфли. «На що вам ці туфли, вони на вас не нализуть»³, — пытаюсь я остановить их. «Ничого, сгодяться», — отвечают они. Сероглазая женщина требует, чтобы я скинула свою единственную шерстяную юбку, которую она заметила на мне под ситцевой юбкой. Я протестую, говорю, что она не имеет права грабить меня, что я такая же украинка, как и она, что у меня есть документ. «Добре, добре, — говорит она, — пійду зараз до поліції, найду поліція, нехай він розбере, яка та українка, и тоди свою заберемо».⁴

Они уходят. Не знаю, как быть, по какой дороге пойти, чтобы вновь не натолкнуться на этих особ.

В тяжком раздумье иду дальше. Вдруг замечаю глубокую канаву, параллельную дороге и наполненную старой травой. Хватаю охапку этой травы, перетаскиваю в одно место и решаю улечься на дно канавы и укрыться этой травой. Быстро проделываю все, что нужно, укладываюсь и тщательно укрываюсь травой. С удовлетворением замечаю, что в разных местах лежат груды такой травы. Значит, моя хитрость не привлечет внимания.

¹ Здесь класс.

² «Как тебе не стыдно, ты же школьница? В каком классе тебя научили грабить?» — «Ходила в шестой класс, ну и что?» (укр.).

³ На что вам мои туфли, они на вас не налезут? (укр.).

⁴ Хорошо, хорошо, пойду в полицию, найду полиция, пускай он разберет, кто украинка, и тогда свое заберем (укр.).

Лежу. Проходит час, а может, и другой. Мне становится невмоготу. Может быть, та сероглазая просто пошла в город на базар, а меня только напугала, думаю я и собираюсь вылезти из засады. На всякий случай прикладываю ухо к земле и вслушиваюсь. Мне кажется, что я слышу приближение чьих-то шагов. Укладываюсь получше и прислушиваюсь. Шум шагов ближе, и я уже совсем ясно слышу голоса: «Та вона мае тры дороги, — говорит мужской голос, — вона може йты на Умань, Бабанку, Тальне. Що вона дурна, щоб тут сидыты и чека-ты»,¹ — слышу я и застываю. Жду, пока их шаги совсем замирают. Выхожу из своего укрытия, когда окончательно уверилась, что никого нет. И тут навстречу мне идет девочка, возможно, дочь той бабы, встречи с которой я так боялась. Увидев меня, вылезающую из канавы, она бросилась бежать в одну сторону, а я в другую. Пробежав некоторое расстояние, я опомнилась и решила, что все-таки днем мне по этим местам ходить опасно и, увидев неподалеку стог соломы, зарылась в него как можно глубже. Так как хлеб уже обмолотили, то я в этой соломе совершенно спокойно просидела до вечера. Из пищевых запасов у меня было с собой три сырых яйца и кусок хлеба. Одно яйцо я съела. Этого было для меня вполне достаточно, так как есть совсем не хотелось. Дорогу на Умань я приблизительно уже знала. Шла она прямо, как будто бы не разветвляясь, и вверх по холму. Я решила пойти в этом направлении, когда стемнеет.

Наконец стемнело. Все ярче становился месяц на темном небе. Черная лента дороги была хорошо видна. Тишина вдруг разлилась по земле. Все умолкло. Я вылезла и пошла. И чем дальше шла, тем фантастичнее становилось все вокруг.

Тени то причудливо сдвигаются, то расступаются. Вблизи никого. Огромное широкое поле, небо — и я. Иду прямо. Передо мной высится небольшой крест, а рядом верба. Прямо — дорога, и от нее направо и налево уходят две дороги. Куда идти? Месяц спрятался. Звезды исчезли. Не заметила, как надвинулись тучи. Господи, куда идти? В какую сторону? Смотрю, с боковой дороги едет телега, на ней мужчина и две женщины. Я к ним: «Ради бога, скажите, як йти на Умань». — «Дывысь, вона навить свого кутка не знае!»² — восклицает молодой женский голос. «Сюды дорога», — показывает мне мужчина в ту сторону, откуда они едут.

Я пошла. Иду долго. Ни звука, ни намек на селение. Начинается дождь — сначала небольшой, затем сильнее. Думаю о том, где мои дети, живы ли мои родные. Представляют ли они себе тяжкую муку, на которую я обречена?

¹ Вон три дороги, она может пойти на Умань, Бабанку, Тальное. Что она дура, чтобы тут сидеть и ждать (укр.).

² Смотрите, она своего угла не знает! (укр.).

Чувствую, что силы меня оставляют, я перестаю владеть собой. Стараюсь не думать, только механически переставляю ноги. Сесть нельзя, лечь — тем более, значит, надо двигаться... Вдруг слышу собачий лай. Какое-то чувство, похожее на радость, шевельнулось в глубине души и тут же погасло. «Село близко, но к кому я попаду в руки?» — думаю я.

Поблизости блеснул свет. Подхожу к хате, стучусь. Дверь открылась, вышла женщина. «Хто тут?» — раздался ее голос. «Ради всего святого, прымить на нич. Я не могу дали йты».¹ — «Заходьте». Вхожу в сени, а оттуда в большую, чисто убранную хату. Перед иконой мерцает лампада. Этот огонек и привел меня сюда. Тихо, спокойно, тепло. На полу зелень, так как скоро Троица. Я тяжело опускаюсь на лавку. Молодая хозяйка приветливо предложила мне покушать, но я отказалась: не было сил. Попросила разрешения лечь. «Лягайте на лежанку. Вона тепла, загриетесь».² Я скинула обувь, сбросила верхнее и легла. Вытянула на лежанке утомленное тело.

Лежу молча. Возле сидит хозяйка. «Яке це село?»³ — спрашиваю я. «Косеновка», — отвечает хозяйка. Оказалось, что встречные направили меня не в Умань, а в Косеновку. Вдруг хозяйка застонала. «Чого це вы стогнете?» — спрашиваю я. «Як не стогнаты, як зараз не життя, а мука»,⁴ — и рассказала мне, что вчера в этом селе убили двух женщин с ребенком, прибежавших из города прятаться. Выдал их житель села, который сам же привязал более молодую к хвосту лошади, а вторая бросилась с ребенком в речку и утонула. «Та, що ии прив'язали до коня, так кричала, що й зараз видгукы ии голосу в моих вухах. Я не могу житы»⁵, — застонала хозяйка.

Меня охватывает жуткое чувство страха. Что-то ударило в голову. Мне душно. «Хто вы?» — спрашиваю я ее. «Мий чоловік — голова колгоспу. Вин мени наказав, усих, хто проситсья до хаты на нич — впускаты, даваты хлиба, исты та не пытаты, хто таки».⁶ У меня вырвался вздох облегчения.

Поздно вечером пришел ее муж, человек молодой, лет под тридцать. Поражали в его лице страшная удрученность и озабоченность. Он пригласил меня разделить с ним ужин. Я поднялась, поднесла ко рту несколько ложек и опять легла. Усталость одолела меня.

¹ Ради всего святого, дайте переночевать. Я не могу дальше идти (укр.).

² Ложитесь на печку. Там тепло, согреетесь (укр.).

³ Какое это село? (укр.).

⁴ Как не стонать, когда сейчас не жизнь, а мука (укр.).

⁵ Та, которую привязывали к коню, так кричала, что и сейчас звук ее голоса в моих ушах. Я не могу жить (укр.).

⁶ Мой муж — председатель колхоза. Он мне наказал, всех, кто просится переночевать — пускать, давать хлеба и не спрашивать, кто они (укр.).

Утро оказалось дождливым, хмурым. От дождя на улице все хлюпало и пенилось. Я поднялась и села. Не хотелось идти в дождь, так хотелось отдыха, тепла. Но я вне закона, поэтому должна идти, тем более что в дом к такому человеку всегда могут зайти нежелательные гости.

Хозяйка меня проводила и рассказала, как идти на Умань. Пришлось вернуться к кресту и вербе, так как оттуда и шла прямая дорога на Умань.

Хлещет дождь. Небо серое, мутное. Ноги вязнут в глине. К моим единственным туфлям прилипают огромные комья земли. Решаю снять туфли и пойти босиком. Робко, со страхом ставлю ногу в грязь — в первый раз в жизни. Нога опускается в теплое, мягкое месиво. Ничего, не так уж плохо. Гораздо приятнее, чем ощущение в мокрых туфлях. Прячу туфли в корзинку и смело иду вперед.

Вот верба и крест. Отсюда налево дорога на Умань. Неожиданно передо мной вырисовывается высокая статная фигура. По всем признакам — пленный. Но его манера переступать по грязи, его чисто выбритое лицо, опрятность одежды указывают на то, что это интеллигент. Он просит меня остановиться и спрашивает, откуда иду: «Стойте, расскажите, что слышно?» Опять повторяю заученное. Рассказываю о побеге наших пленных в Погребище, о расстреле в связи с этим пятидесяти человек — случайных встречных. Оказывается, об этом он уже знает. Доверчиво рассказывает, что до сих пор жил в семье у дядьки, а теперь вынужден уйти, так как дальнейшее пребывание здесь становится опасным.

Я посоветовала ему держаться глухих дорог и заброшенных мелких деревушек, и мы с ним дружески расстались.

Дождь зарядил не на шутку. Распускаю платок по спине по примеру сельских женщин и получаю нечто вроде прикрытия. Вспоминаю, что селянки в таких случаях еще надевают юбку наыворот. Очень сожалею, что нет на мне «рясной» спидницы¹ — хоть издали я напоминала бы настоящую селянку.

Иду полем. Под стогом сена лежат две девушки, наврное, пастушки. Поблизости уныло бродят мокрые коровы. Девушки с удивлением смотрят, как я шагаю. Подхожу к селу, внезапно выросшему передо мной. Захожу в первый же домик на опушке леса. Приветливо сверкают чисто вымытые окна. В сенях — велосипед. Стучу. Открываю дверь. У накрытого стола сидят двое — мужчина и женщина. Спрашиваю, как называется село, и прошу указать дорогу на Умань. Затем выхожу и оглядываюсь. Оба стоят на пороге, смотрят мне вслед и переговариваются. Быстро-быстро иду вперед.

¹ Плотной нижней юбки (укр.).

Дождь прекратился. Выглянуло солнышко. Грязь густо покрывает мои ноги. Я считаю, что так лучше: из-под грязи не видно нежной кожи ног — и упускаю из виду, что селянки всегда следят за чистотой босых ног. После дождя они обязательно моют ноги в лужах или канавах. Чем дальше иду, тем чаще замечаю удивленные взгляды встречающих.

Быстро пересекаю село. Выхожу на противоположный конец и снова спрашиваю дорогу на Умань. По большой дороге, что тянется под лесом, быстро катят телеги. Люди спешат домой, ведь сегодня канун Троицы. Вдруг на возу, полном девушек, раздается крик: «Дывись, жидивка! Звидкы вона узялась? Ха-ха-ха», — раздается по всему полю. «Де ты узяла таки панчохи?»¹ — слышится с другого воза. Старики, едущие на возах, смотрят большей частью с грустью и жалостью, молодые хохочут. Мальчишка лет четырнадцати, соскочив с воза, бросается навстречу мне и, улюлюкая, пробегает по насыпи на краю дороги.

Чувствую, что эта встреча может закончиться для меня очень печально, и поворачиваю в лес. Перескакиваю через ров и ухожу все глубже, подальше от дороги, чтобы никто меня не видел. Только стараюсь запомнить направление моего пути.

Ложусь на землю и слежу за проезжающими возами. Затем потихоньку перехожу на более низкое место и в изнеможении сажусь.

Так, без мыслей, как бы застыв, сижу очень долго. Все боюсь выйти и, наконец, когда полная красная луна поднимается высоко, выхожу к опушке — в направлении, которое было намечено мной заранее. Но все пошло не так, как думалось. Неожиданно деревья сдвинулись, вдруг выступила поляна, окаймленная лесом, который придвинулся к ней вплотную. Куда идти? До этого казалось, что дорога шла параллельно лесу и канавка бежала рядом. Куда все девалось? Иду прямо, натыкаюсь на деревья, сворачиваю и иду по следам, оставленным возом. Дорога заводит меня в глубь леса. Останавливаюсь. Прислушиваюсь. Полная тишина, ни шороха.

Выхожу на опушку леса. Луна освещает широкое поле, черное, как бархат. Кругом нигде ни огонька. Куда идти? Если пойду дальше полем, придется лечь прямо в поле, так как мои усталые ноги долго не выдержат. И я решаюсь ночевать в лесу. Выбор падает на бугорок, с трех сторон прикрытый деревьями. Сажусь на землю, вытаскиваю валенки, чудом оставшиеся в корзинке, натягиваю на ноги, закутываюсь поплотнее в жалкий платочек, запахиваю полы моего старенького жакета и укладываюсь на землю. Корзинку — под бок, голову — на пенек, оказавшийся рядом. Закрываю глаза. По-

¹ Гляди, еврейка! Откуда она взялась? Где ты взяла такие чулки? (укр.).

следние годы моей жизни проходят у меня перед глазами. Вот я с вечерней работы спешу домой. Вхожу в квартиру, такую теплую и уютную. Стол накрыт для вечернего чая. Играет радио. Моя девочка, мое дитя, сидит за столом и читает. Меня ждут...

Открываю глаза — темный лес еще гуще, одиночество еще страшнее. «За что такая мука?» — сами по себе шепчут губы. К горлу подкатывает клубок, слезы застилают глаза. Настоящих слез у меня нет уже давно, только жжет глаза. Потом меня охватывает глубокое равнодушие, и я засыпаю.

С рассветом я поднялась и собралась в дорогу. Уже нет теней, нет причудливых фигур. Яркое солнце ласково освещает землю. И как только я поворачиваю за лесок, передо мной вырисовываются очертания города. Какой красивой кажется мне родная Умань!

Вот и Софиевка. Вспоминаю, что у меня нет хлеба. Подхожу к воротам усадьбы, расположенной у самой дороги. Вспоминаю, как часто бывала я здесь, когда жила со своей семьей совсем рядом — на даче. Стучусь. Выходит хозяйка. Прошу хлеба. Она быстро выносит мне хлеб. «Не узнаете меня?» — вдруг, помимо моей воли, срывается с губ. Она всматривается и не узнает. И вместо того чтобы уйти, я, повинаясь какому-то неожиданному порыву, называю себя. Лицо ее болезненно морщится. Прошу разрешения пересидеть до вечера у нее в сарае. Она не соглашается, оправдываясь тем, что к невестке приехали гости из соседнего села.

Я быстро ухожу. Вот и парк, такой родной, такой знакомый. Вся юность и большая часть молодости прошли здесь, а сейчас... Пробираюсь, как загнанный зверь, боюсь людей и тщательно избегаю встреч. Никогда не предполагала, что могу дойти до такого состояния. Только фашизм, выдумка дикаря-людоеда, мог так растоптать жизнь и достоинство человека.

Наступает утро. Тишина резко нарушается. Примешивается много новых звуков. Надо быть осторожной, надо помнить, что в родном городе меня многие могут узнать, а потому надо как можно скорей уйти от центральной дороги. Решаю в город не заходить. Пока доберусь до квартиры моей знакомой, у которой надеюсь найти приют, люди пойдут на работу, и меня могут узнать. Пересекаю Софиевку, поднимаюсь вверх, выхожу на Дубинку.¹ Здесь много зарослей, гуляющие заходят сюда редко. Ухожу подальше от дороги, в глубь парка, выбираю ложбинку и устраиваюсь на день. Проверяю свой продуктовый запас. Обнаруживаю еще одно яйцо. Итак, всего три яйца и кусочек хлеба, полученный в слободке. Аппетит со-

¹ Парк рядом с Софиевкой.

всем пропал, а поддержать себя можно и этим. Выпиваю одно яйцо и откусываю кусочек хлеба. Не лезет в горло. Лежу, прислушиваюсь, как постепенно оживает парк. Вот кто-то проходит внизу по дороге. Невдалеке шумит водопад, просыпаются птицы. Сначала писк прорывается только кое-где, а затем воздух оглашается радостным и дружным щебетаньем.

Слышу, как по верхней дороге, ближе ко мне, идет куда-то компания ребятишек. Припадаю к земле, уползаю в кусты, чтобы слиться с общим фоном. Это очень опасная встреча. Дети большей частью жаждут впечатлений и поэтому безжалостны. Но пока обошлось, они ушли. Затем слышу уже спокойное движение прохожих по парку. Солнце поднялось в зенит. Часов в двенадцать раздается музыка — где-то играет оркестр. По-видимому, возле оранжерей.

Первый день Троицы. Сегодня в парке гулянье. Для меня это плохо во всех отношениях. Надо поскорее уйти подальше в глубь леса, в глухое место, чтобы кто-то случайно не набрел на меня. Весь день только и делаю, что ползком передвигаюсь в сторону от приближающихся шагов.

Наконец наступает долгожданный вечер. Шум шагов и голоса начинают затихать — публика расходится.

В город идти боюсь. Усаживаюсь под кустом. Землю густо покрывает роса. Кладу под себя единственный платок. В это время слышу шум с дороги и быстро перехожу на другое место, подальше. Вспоминаю о платке, возвращаюсь за ним, но сумерки все изменили: не кустарники, а какие-то таинственные существа наполняют лес, который сдвигается все тесней. Поляны уменьшаются, тени становятся резче — ничего не узнаю. Но где же платок? Так и не нашла. Не отдала мне лесная тьма своей добычи.

Измученная и уставшая, села я под деревом и задремала. Ночью несколько раз открывала глаза и удивленно всматривалась в темноту, не понимая спросонья, где я и что со мной. Потом поднялась, вышла на главную дорогу и пошла по направлению к городу.

Было еще очень рано, и над городом плыл туман. Какая-то женщина дружелюбно со мной поздоровалась. Иду дальше. Город уже ожил. То тут, то там открываются окна, кое-кто выходит во двор. Меня опять охватывает страх, и я решаю не идти в город, а попросить приюта у случайных знакомых, которые живут неподалеку.

Подхожу к маленькому, словно игрушечному, домику. Старик с большой бородой впускает меня. Прошу разрешения отдохнуть. Хозяйка пристально всматривается в меня — и узнает. Я жду своей участи. К моей радости и удивлению, меня принимают ласково. На дверь немедленно накладывается

крючок, чтобы никто неожиданно не зашел в дом. В этом доме я провожу сутки.

Днем хозяйка по моей просьбе вызвала ко мне бывшую сотрудницу, которой я в то время вполне доверяла и с которой была дружна. Та вскоре пришла, сильно взволнованная и недовольная.

Узнав, что мне негде ночевать (я ведь не предполагала, что меня оставят на ночь совершенно чужие люди), она не нашла ничего лучшего, как посоветовать переночевать где-нибудь под забором или на веранде пустого дома. При этом потребовала у хозяйки, чтобы та никогда и никому не проговорилась, что она приходила к ней в дом, и вообще, чтобы придерживалась того, что она ее знать не знает и ведать не ведает. А потом торжественно удалилась.

На другой день я узнала, что в городе есть нечто вроде нового гетто и что староста там — мой старый знакомый. Я направились туда.

По рассказам я представляла себе, где расположено это гетто, и легко туда добралась. Это был каменный двухэтажный дом на улице, которая вела к базару.

В гетто все еще спали. Недалеко от дома сидела какая-то пожилая украинка. Она рассказала мне, что ее муж — еврей, извозчик, он попал в лагерь, и она пришла сюда узнать, не известно ли что-нибудь о нем.

Наконец раскрылись двери, и вышла жена старосты, которая отлично меня знала. «Что здесь делают украинки, что им надо?» — спросила она, обращаясь к нам. Поговорив с украинкой, она обратилась ко мне. Я сказала ей, что хочу видеть старосту. Она удивленно на меня посмотрела. Я назвала себя. Grimаса неудовольствия прошла по ее лицу, и она ушла. Староста вышел, потягиваясь и щурясь.

Он рассказал, что в последних числах апреля 1942 года немцы в третий раз окружили гетто. Всех, кто не сумел спрятаться, выгнали на улицу и отобрали — в одну сторону крепких и здоровых, а в другую — больных, стариков и детей. Последних погрузили на грузовики, чтобы отправить на умерщвление.

Одна женщина ни за что не хотела расставаться со своими детьми, которые были в грузовике, она билась и рвалась к машине. Полицаи несколько раз отбрасывали ее в сторону. В конце концов она подскочила к одному из них и ударила его по физиономии. Он расвирепел и швырнул женщину в автомобиль к ее детям. Так она приняла смерть вместе со своими детьми.

Через некоторое время после заключения в лагерь тех, кого не убили сразу, комиссар города Петерсон вспомнил,

что там находится его «Иван» (так называл он С., когда тот работал у него), и велел освободить его из лагеря вместе с семьей.

К этому времени в лагере уже успели уничтожить большое количество подростков в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет, которых незадолго до этого забрали как трудоспособных. Однажды, когда взрослые уходили на работу, молодежи велели остаться — якобы для уборки лагеря. Вернувшись с работы, взрослые уже не застали большей части детей.

Комиссар вызвал С. и велел ему отобрать из лагеря специалистов и водворить в городе в отдельном, предназначенном для них доме. С. рассказал мне, как одна несчастная женщина украдкой всунула ему часы и просила выволить ее из лагеря.

И вот С. в глубоком раздумье стоит у приемной комиссара; вдруг входит Гессе, заместитель комиссара, и встает у окна, заложив руки за спину. «Я стоял неподалеку, — рассказывал С., — думал, можно ли ему предложить золото или это опасно. А он смотрит в окно, не поворачиваясь. Я решил: что будет, то будет — тихонько подошел, положил в открытую ладонь часы с цепочкой. Кулак немедленно сжался, и рука опустилась в карман».

Конечно, хозяйку часов не освободили. Ей «предоставили возможность» погибнуть в лагере. Правда, С. все-таки вызволил нескольких настоящих специалистов: одного литейщика, нескольких бондарей, портных, жестянщиков — и кое-каких мнимых «специалистов», которые дали большой выкуп.

Когда С. выпустили из лагеря, ему приказано было вместе с другими евреями убрать гетто и почистить квартиры. «Вы видите вот этот дом? — показал мне С. на полуразрушенный дом. — Когда мы пришли из лагеря, здесь не было ни одного еврея. Я получил приказ навести порядок. В этом доме нашел трех убитых, а там, несколько дальше, лежала женщина с разбитым черепом, мозги вылетели под штандарт печи, а возле нее лежал чемодан с вещами. Везде, куда мы ни заходили, мы находили массу трупов, и все их мы должны были убрать и похоронить. В конце концов мы так ко всему привыкли, что нас ничто уже не может вывести из равновесия».

Итак, из лагеря выпустили сорок одного специалиста. Всех их водворили в один дом, который и стал для несчастных специалистов чем-то вроде общежития. Жившие в этом доме состояли под строгим надзором, работали на определенных местах, а остальное время проводили здесь. Общая кухня с огромной плитой — первое, что бросалось в глаза при входе. Затем были отдельные комнаты, в каждой из которых жили от трех до пяти человек. Женщин было мало, всего во-

семь. Мужчины большей частью были одиночками, и для уборки комнат и приготовления пищи были назначены две женщины. Одна из них, жена Т., — уборщица, другая, жена старосты С., — заведовала кухней. Должности этих женщин были для них весьма выгодны, так как освобождали от другой работы. Позже, когда общежитие разрослось, дочь С. тоже назначили уборщицей.

Меня поразило выражение лиц обитателей этого своеобразного общежития: худые, изможденные, с выражением пришибленности и страха в глазах. Потом я сообразила, что это был отпечаток недавнего пребывания в лагере.

Когда я пришла в гетто, староста отнесся ко мне неплохо, долго со мной разговаривал, но в ночлеге категорически отказал: «У меня все на учете в СД, у каждого есть разрешение (вид на жительство) от комиссара; каждую ночь приходят полицаи с проверкой. Найдут вас, неоформленную, — вам смерть или в лучшем случае лагерь, а мне большое несчастье. Если вам негде ночевать, устройтесь в каком-нибудь заброшенном доме или в саду, но не здесь».

Я провела там весь день, а к вечеру стала собираться в город. Мне настоятельно посоветовали не маскироваться и принять свой прежний вид.

Несмотря на уговоры, я ушла в таком же виде, в каком расхаживала в последнее время. На голове платок, повязанный, как у селянок, кофта навывпуск, юбка из дешевой шерстянки, пошитая по-крестьянски, — ее я успела приобрести в Умани, — туфли на босу ногу, потертый плюшевый жакет и небольшой платок, накинутый на плечи. Словом, настоящая мешанка из предместья.

Моя старая приятельница, к которой я решила пойти, жила далеко от нового гетто. Надо было пройти весь город. Чтобы меня не узнали, выхожу в десятом часу вечера, а евреям можно ходить только до семи часов. Да и вообще им нельзя свободно ходить по улицам, они имеют право только в определенное время идти на работу и с работы, а в остальное время выходить из отведенной зоны запрещено.

Зорко вглядываюсь в редких прохожих. Вообще улицы при немцах, как правило, пустынные. Детей не видно.

С сильно бьющимся сердцем, задыхаясь от волнения, вхожу во двор к моей приятельнице. Какова-то она сейчас? Во что верует, что исповедует? Как она примет меня? Может, тоже посоветует переночевать где-нибудь под забором?

Залаяла собака, бросилась ко мне. Иду смело: терять нечего. Покусает собака — тоже неплохо. Может, зашевелится где-нибудь в душе струнка сочувствия, и оставят хоть на ночь. Возвращаться мне нельзя и некуда.

Захожу в кухню. Работница глянула на меня и крикнула: «А.Н., йдите сюды, подывытыся, хто прыйшов до нас!»¹ Слышу быстрые шаги. Входит в кухню, взглянула и кинулась ко мне. Обняла, крепко расцеловала. «Раздевайтесь. Ксения, дай воды помыться. Натe полотенце». Камень свалился с плеч. Итак, сегодня я обеспечена всем, о дальнейшем думать не буду.

Заперли все двери. Наглухо закрыли ставни. Я скинула маскарад, привела себя в порядок и пошла к столу.

Яркий свет, сервировка стола — все так напоминало былое, родную обстановку, что пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не разрыдаться. Не хотелось своими слезами отравлять жизнь людей, так искренно и хорошо отнесшихся ко мне. Я постаралась спокойно сесть за стол. Рассказала, что привело меня сюда. Вдаваться в подробности о том, что пережила, не хотела. Сказала только, что «Хождение по мукам» Толстого — роман с приятными приключениями в сравнении с тем, что выпало на мою долю и долю таких, как я.

Решение приняли такое: я обращаюсь за документом к нашему бывшему сотруднику, занимавшему теперь пост заведующего горздравом. В эту ночь я спала так, как не спала уже давно.

На рассвете пошла в горздрав. Заведующий меня принял, обещал содействие, но так ничего и не сделал.

Пробыла я в этом доме пять дней. День проводила на чердаке. Был уже конец мая. Дни длинные, на чердаке нестерпимо жарко и душно. Подойти к слуховому окну боюсь, так как нечаянно брошенный взгляд с улицы может стоить мне жизни и принести ужасное несчастье хозяевам.

Когда я удостоверилась, что документа не получу, мной овладело отчаяние. Надо уходить. Но куда? Эти мысли мучили меня. Лежу на соломе — уже, верно, 12 часов дня, так как солнце стоит высоко. Завтра надо уходить. Вспоминаю все трудности, пережитые, пока добиралась до Умани. Вспоминаю, как убили в Косеновке женщину, привязав ее к хвосту лошади, и передо мной начинает маячить картина, как меня ловят, привязывают к хвосту лошади... Удар хлыстом — и лошадь рванулась вперед, а я болтаюсь за ней, ударяюсь о камни, о деревья. Копыта цокают и ударяют меня по голове, по телу — и в конце концов я превращаюсь в кровавый ком из мяса и костей... Чувствую, как что-то черное заливает мое сознание и черепная коробка как бы отделяется от мозга.

Вдруг открывается люк на чердак, и ко мне поднимается работница Ксения. Она сидит, смотрит на меня, а я перестаю владеть собой и говорю: «Ксеничка, я не хочу, чтобы меня привязали к хвосту лошади, я не хочу такой лютой смерти.

¹ А.Н., иди сюда, посмотри, кто пришел к нам! (укр.).

Помогите! Что мне делать? Я не хочу погибнуть! Господи, за что такие муки!»

Она сокрушенно смотрит на меня, зовет вниз завтракать, но мне не до этого. Я вроде успокаиваюсь, ложусь на солому и лежу, тупо уставившись в пространство. Ксения уходит: боится, чтобы кто-нибудь не застал ее на чердаке.

Лежу и думаю: опять пойду бродить без документов, буду слоняться из села в село, пока судьба не сжалится и не пошлет мне конец. И погибну я, как собака... И никто из моих родных, мои дети, моя единственная девочка — не будут знать, куда я делась.

И вдруг мое внимание привлекла веревка, привязанная между двумя столбами. Середина ее висела, образуя большую дугу.

Я подумала: один миг — и все кончено. Умирать не страшно, жить страшнее. Сегодняшняя жизнь ничего, кроме глубокого отвращения, мне не внушает. Куда идти — не знаю. Дальше так жить — нельзя. А здесь, если закончу счеты с жизнью, меня похоронят в саду мои друзья. Над моей могилой вырастет куст, посаженный дружеской рукой. Наступит время, вернуться дети и придут на мою могилу... И я быстро подошла к веревке, скрутила петлю и всунула голову... В этот миг распахнулся люк — это работница опять вошла ко мне посмотреть, что я делаю. Я отпрянула в сторону. Она посидела, поговорила со мной и ушла.

А я сижу и думаю: за гостеприимство, за тепло, за ласку — чем хочу отплатить? Люди рискуют собой, приютив меня живую, а я хочу еще больше хлопот доставить им собой — мертвой. Нет! Так нельзя! Нельзя свое бремя перекладывать на чужие плечи. Если решу покончить с собой, то где-нибудь в другом месте. Вечером, в последний раз пользуясь гостеприимством хозяйки, прощаюсь перед сном, благодарю за приют. Утром надо идти. Скорей спать. Не успеваю лечь, как сон смежил глаза.

Утром встала пораньше, оглядела все: обстановку, ставни на окнах. Они почему-то особенно трогают меня. Уют, тепло, весь уклад так напоминает мне былое, и я вновь захлебываюсь рыданиями. Все спят, и я даю себе волю. Затем уйду к другой моей знакомой — в надежде, что через нее смогу получить какой-нибудь документ.

Вхожу в дом и застаю хозяйку, а с ней какую-то постороннюю женщину. Чтобы не навлечь на хозяйку беду, притворяюсь, будто случайно попала в дом, и спрашиваю дорогу на вокзал. Хозяйка сразу смекнула, в чем дело, и отвечает мне в тон. Спрашивает, откуда и куда я иду и, чтобы потянуть время, усаживает меня покушать. Ее гостя тем временем уходит.

Посвящаю хозяйку во все подробности своего дела. Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как наступил глубокий вечер. Время позднее — и уйти мне уже нельзя. Решаем, что я зайду к знакомым, живущим через сад. Живут они обособленно, у них никто не бывает, и я проведу у них день, а как стемнеет — уйду.

Вхожу. Сначала меня не узнают, а узнав, хозяева меняются в лице. Никак не могут они разрешить мне остаться даже на несколько часов: тетка была замужем за евреем, и племянница этой тетки по мужу живет у них под видом украинки. Нет, ни в коем случае! Хозяев охватывает лихорадка. Они волнуются, и я чувствую себя как в западне. И их мне жаль, и выйти нельзя: время позднее, но на улице много людей.

Общий совет решает, что мне можно посидеть на кухне.

Через полчаса хозяйка входит и просит уйти, так как должен прийти водопроводчик — исправить кран. Она с ужасом говорит, что он меня узнает и немедленно донесет куда следует... тогда погибнут все. Мне от души жаль этих людей, и я не знаю, что предпринять. Но тут приходит соседка и предлагает переждать до вечера у нее. Посидев у нее некоторое время, тихонько пробираюсь к моей знакомой, к которой пришла с утра. Та проводила меня в кабинет, где я целый день просидела за шкафом. Она же провела целый день с семьей на дворе, заперев квартиру, — будто бы потеряла ключи и не может вспомнить, куда их сунула.

Только поздно вечером, когда двор опустел и не грозил ничей визит, семья вошла в дом. Как обычно, двери — на замок, ставни — наглухо.

В эту ночь я не могла спать — да и людям не давала покоя. Все бегала по квартире и плакала, что не хочу умирать лютой смертью, не хочу быть привязанной к хвосту лошади.

На рассвете я попыталась уйти, но это оказалось выше моих сил. Вернулась и снова забралась на чердак. Так я провела в этом доме еще сутки. А на рассвете следующего дня пошла к больнице — в надежде, что работающая там знакомая украинка даст мне какое-нибудь удостоверение.

Иду. Обе корзины висят через плечо — одна спереди, другая сзади, в руке посох; платок надвинут на самые брови. Иду быстро, стараюсь обходить дворников, убирающих улицы. К ним я отношусь особенно недоверчиво.

Не доходя до больницы замечаю, что на ступеньках стоит моя знакомая, к которой я шла. Вдруг вижу — навстречу идет полицай. Нужно поскорее, пока он меня не разглядел, добраться до больницы. Прибавляю шаг. Моя знакомая наблюдает за мной. Сначала она как будто спокойно смотрит в мою сторону, но затем поворачивается и торопится уйти (очевидно, не в состоянии больше владеть собой).

Через несколько мгновений вхожу в здание. Мне все-таки удалось опередить полиция и избежать встречи с ним.

Увидев меня без полиция, моя знакомая благоговейно осеняет себя крестом, а губы что-то шепчут... Но документа я так и не получила.

Несмотря на это, решаюсь все-таки уйти в село Могильное,¹ а оттуда перебраться на территорию, оккупированную румынами²: слышала, что там евреям живется легче.

Иду пустынной улицей мимо больницы, возле которой, к счастью, нет людей, и беру направление на вокзал. Чтобы никого не встретить, иду совершенно необычным обходным путем.

Чем дальше от города, тем спокойнее становится на душе. Я уже отошла на значительное расстояние. Мимо меня быстро промчалась машина с девушками и остановилась недалеко. Из кабины выходит немец и начинает командовать работой — производится ремонт дороги. Работают девушки и пленные. Я вдруг останавливаюсь как вкопанная. Не знаю, что со мной: то ли это страх перед немцем, то ли какая-то сила сдерживает меня — воля моя парализована.

Опираюсь на палку и стою, опустив голову. В голове вихрем проносятся обрывки мыслей, но ни к чему существенному прийти не могу. Стою, видимо, довольно долго. Вдруг чей-то кашель резко встряхивает меня. Чувствую в этом кашле предупреждение, напоминание. Спыхватываюсь и иду дальше. Медленно приближаюсь к месту, где идет ремонт и где стоит немец.

Тут вижу: катятся по дороге огромные возы, возницы — пленные, едут в лес за дровами. «Мать, садись, подвезу», — слышу я и в один миг взбираюсь на воз и усаживаюсь в глубине. Разговаривать с пленным остерегаюсь: говорят, среди них стали появляться предатели.

Пленный подвез меня к лесу, велел слезть, а сам поехал дальше. Я вошла в глубь леса. Чувство свободы, чистота и благоухание воздуха, красота ландшафта — все так успокаивающе, так благотворно повлияло на меня, что я совсем забылась. Недалеко, на дороге, взад и вперед снуют немцы на машинах, велосипедах и мотоциклах. А я сижу на земле и смотрю по сторонам.

Какой-то паренек, наверное пастух, подошел ко мне и сел рядом. Разговаривая с ним, я просидела очень долго. Между прочим, узнала от него, что недавно в Терновке и в Теплике убили всех евреев, а сегодня погром в Монастырище. Он

¹ Расстояние от Умани до Могильного примерно 70 км.

² Так называемая Транснистрия (Заднестровье) включала в себя части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и левобережную часть Молдавии.

передал — из рассказов очевидцев, — что в Теплике полицаи и немцы убивали евреев, срезая головы саблями, как кошой скашивают траву. А когда закончили, вскинули кровавые сабли на плечи и с «триумфом» вернулись в местечко.

Когда наступил день, я пошла по направлению к селу Черповоды.¹ Иду лесной просекой, лес начинает редеть. Меня догоняет компания — несколько женщин и парень. Они идут поливать помидоры. Заинтересовались, куда и откуда я иду. Рассказываю, что иду из Горловки в Могильное, к сестре на жительство. Молодой парень, догадавшись, что я не знаю дороги, говорит: «Эх, тетка, идти надо по компасу». Я спохватываюсь и говорю: «Як, як? Як кажете по компосту?» Он посмотрел на меня, презрительным взглядом смерил с головы до ног и махнул рукой.

Так и поплелась я дальше, попала на низину, кажется, на заливные луга, увязла в трясине, еле выбралась. Подходит вечер. А тут навстречу подвода едет — на Кочержинцы. Решила дальше не идти, а вернуться в Кочержинцы, разыскать мою старую знакомую, которая там жила, и провести у нее ночь. Так я и сделала. С трудом добралась к Кочержинцам и еле нашла свою знакомую.

Она приняла меня очень хорошо и горько меня жалела. Эту ночь провела у нее на чердаке.

Чуть свет хозяйка вывела меня на дорогу, показала направление на Умань и на Могильное, а сама торопливо ушла.

Стою в раздумье. Не знаю, как быть. Все не могу решить, идти мне в Умань, чтобы добиться разрешения прожить в гетто до получения каких-нибудь документов, или идти без них, подальше от родного города.

Поворачиваю и опять иду на Умань. Часам к двенадцати дня подхожу к гетто. Первой увидела меня жена С. Ее злое, неприятное лицо прорезала недовольная гримаса. На мое приветствие почти не отвечает. «Говорили, что Березовская ушла, а она опять здесь», — громко говорит она. Вхожу в комнату. Муж ее встречает меня приветливо, довольно любезна на сей раз и его дочь. Рассказываю ему, что обратно меня привело отсутствие документов.

Еще в прошлый раз он, как бы между прочим, спросил меня, что осталось у меня из прежних «достатков». Я созналась, что мне удалось сохранить золотые часы мужа. Часы привлекли его внимание. Он тогда посоветовал: не скитаться, а прописаться и получить право на жизнь в гетто. Мое желание уйти подальше отсюда он не разделял и относился к этому скептически, считая, что далеко я не уйду и в конце концов полицаи меня убьют.

¹ Расстояние от Умани до Черповод 28 км.

В то время, по распоряжению комиссара, выдавался паек для евреев. Пакет состоял из пшена и хлеба. И в тот день, когда я вновь вернулась в Умань, в кухне варился огромный котел с пшенной кашей для всех и отдельные обеды для тех, у кого были свои продукты. Часов в двенадцать многие обычно приходили на перерыв. А часам к шести гетто оживало. Все возвращались, обедали, обменивались впечатлениями и рассказывали о событиях дня.

К семи, когда обитатели высыпали на улицу и сидели на ступеньках, к дому подкатила машина. Немедленно был вызван С. Он подошел к окну автомобиля. Сидевший в машине немец что-то ему сказал и уехал. Евреи заволновались, повскакивали с мест, но затем все улеглось и успокоилось. Оказалось, приехал сам заместитель комиссара — Гессе.

Вечером С. мне рассказал, что евреи уже давно ничего не преподносили Гессе, и тот сегодня зовет его к себе. Идти к нему без подношения нельзя, его необходимо всегда улаживать, умасливать.

После долгих разговоров на разные темы С. сказал мне, что евреи уполномочили его купить где-нибудь золотые часы для Гессе. Если я захочу продать, то купец самый настоящий и удачный. Я ответила, что должна подумать. Мне разрешили пока остаться переночевать в пустой комнате на стульях. Итак, я снова ночевала в Умани — в гетто.

На другое утро был вызван бывший бухгалтер Б. — для экспертизы. С безразличным лицом осмотрел он прекрасные часы с редким механизмом и равнодушным голосом заявил, что они его далеко не удовлетворяют. Посоветовавшись, они назвали мне сумму и удалились. Часы С. взял с собой, чтобы кое-кому показать. Когда я выходила из комнаты, ко мне подошел рыжий еврей, по профессии последних лет извозчик, а в основном крупный спекулянт, который меня прекрасно знал. Он стал убеждать меня не дорожиться, отдать часы для умиротворения комиссара. Следует добавить, что вся эта компания старалась мне внушить, что своими часами я чуть ли не спасаю всех и это имеет «важное общественное значение».

Третий день моего пребывания в Умани был богат происшествиями. Часов в двенадцать, когда все разошлись и только женщины хозяйничали на кухне, вдруг открылись двери и ввалился молодой, русский, по виду горожанин, лет около тридцати, пьяный как ночь. В руках он держал петуха и курицу. В один миг все выскочили из кухни через противоположную дверь, осталась только жена С. Перепуганная, стояла она и молча ждала, что будет. Шатаясь, подошел он к ней, взял за голову, поцеловал и всунул в руки петуха. «На, бедняжка, будет тебе что кушать. Не плачь! Скажи своим,

что скоро наступит такое время, что мы их будем возить на машинах так же, как они вас везут», — и вышел. Страх прошел, все сбегались на кухню и позавидовали жене С., что она получила такой подарок. Этот человек вышел, отошел на несколько шагов и вернулся. Встав на пороге, он бросил в кухню курицу со словами: «Берите, ешьте. Это вам». И ушел. Конечно, птицу забрала жена С.

Геттовцам чрезвычайно понравился этот инцидент, они долго пересказывали его и повторяли, как он сказал: «Скоро мы их повезем так, как они вас везут».

Днем к старосте пришел вдруг какой-то полицай, и меня стали гонять из комнаты в комнату, чтобы я не попала к нему на глаза.

Наконец приблизился вечер — и опять сон, на сей раз на досках от дивана. Не сон, а мука, когда тело не отдыхает, а нервы из-за мучительной ночи напряжены до предела.

На следующее утро С. приходит ко мне и заявляет, что мне необходимо уйти. Он не может и не желает за меня отвечать, тем более что я со своей стороны ничем не хотела помочь еврейской общине в тяжелую минуту. Я прошу разрешения остаться еще на пару дней и показываю ему на больную ногу. Он уходит, сердито хлопнув дверью. Целый день вокруг меня ведется разговор на тему, во сколько каждому обошлось вызволение из лагеря; в какой мере каждый готов откликнуться на призыв старосты, если в этом будет какая-нибудь необходимость. В общем, меня агитируют, учат уму-разуму.

В результате полуголодное существование, абсолютная заброшенность. Ощущение себя лишним, нежелательным человеком заставляет меня на рассвете снова пуститься в дорогу.

Вышла в поле. Навстречу мне идут восемь молодых женщин. Идут на работу по ремонту дороги. Увидев меня, останавливаются, спрашивают, куда я и откуда. Рассказываю, что из Горловки — к себе в деревню, в Могильное. Услышав, что я из Горловки, они выражают мне глубокое сочувствие: «Бидна»,¹ — говорят они между собой. Мне приходится рассказать, как бомбят Донбасс, как люди все время сидят в траншеях, какой там голод. Какая-то старушка, идущая на базар, присоединяется к нашей группе и расспрашивает у меня подробности о жизни на Донбассе. Оказывается, там живет ее дочь, и она надеется, что та теперь тоже пробирается домой. Скоро мы расходимся в разные стороны.

Я прошла еще около километра и присела на краю дороги. Куда мне спешить? И зачем? Мимо меня проходит на базар ранняя публика. Это все селянки с мешками, с корзинами. Несколько позже проходит другой люд. Вот человек, по виду

¹ Бедная (укр.).

священнослужитель, катит небольшую повозочку со скарбом. Останавливается и рассказывает, что он из Кировограда, переходит на жительство в какое-то село под Уманью. Вот едет подвода с дровами. Возница погоняет лошадей, а за возом большими шагами, торопливо идет молодая женщина с букетом в руках. А я все сижу, наслаждаюсь свежим запахом полей, свободой и тем, что меня никто не знает.

Смотрю, ко мне приближается человек высокого роста, опрятно одетый, лет около тридцати. Подошел, остановился. Оказывается, идет в Умань из села Собковка, находящегося в пяти километрах от города. Хозяйство его в селе, а жена и ребенок тоже живут в Умани. Опять расспросы, куда и откуда иду. Рассказал, что он баптист.¹ Мы долго стоим, разговариваем. В это время старуха, встретившаяся мне утром, возвращается обратно и, увидев меня почти на том же месте, бесцеремонно спрашивает: «Ты що, вже не йдеш, вже вертаєшся?»² Мой собеседник предлагает мне пойти к нему переночевать. Наверное, разгадал мою тайну. Я сразу пугаюсь его предложения и отказываюсь. Он прощается, но перед уходом говорит, как найти его домик.

Вскоре после того как он скрылся из виду, я сильно пожалела, что не пошла к нему. Хотя бы один вечер провела в спокойной обстановке, ведь идти мне все равно некуда. И я пошла его искать. Долго ходила от одного двора к другому. Уже надвигался вечер, когда я, наконец, нашла его. Как только услышал в сенях мой голос, сразу позвал в дом. Сам же он с женой и ребенком немедленно снарядились в путь, в село. Хозяева ушли, квартиру заперли, а я осталась в сенях на соломе. Мы заранее условились, что если меня здесь обнаружат, я скажу, что влезла через окошко, обнаружив квартиру без хозяев. За ночь я все обдумала и решила вернуться в гетто, продать часы и с деньгами отправиться в путь.

На рассвете вернулась в гетто, зашла к извозчику, жившему обособленно от других. Застала его за утренней молитвой. Знаками он предложил мне сесть и подождать. За столом сидел маленький, худенький старичок — бондарь, которого освободили из лагеря как хорошего специалиста. Средств к существованию у него не было, и он жил полностью на иждивении у этого извозчика. Очевидно, он уже помолился, и возле него лежали все атрибуты утренней молитвы.

Извозчик долго и горячо молился, и временами слезы текли из его глаз. Закончив молиться, пригласил меня завтракать. Я не отказалась. За столом он стал меня убеждать отдать

¹ Одно из течений протестантизма. В его основе лежит принцип крещения в сознательном возрасте.

² Ты что же не идешь, все возвращаешься? (укр.).

какую-нибудь ценную вещь, приписаться и поселиться в гетто, ходить на работу, как все, и покориться воле божьей. Он глубоко верил, что Красная армия придет, всех вызволит — и это дело ближайшего будущего.

Долго просидела я у него — была не в состоянии выйти. Встречаться с обитателями гетто мне не хотелось. Их черствое, бездушное, а подчас и насмешливое отношение ко мне действовало угнетающе. Позже пришел С. Извозчик о чем-то с ним переговорил, и С. разрешил мне пробить в гетто несколько дней. День я провела наверху, в проходной комнате — без мебели, почти в полном одиночестве и в голоде. Там же спала на двух стульях и без подушки. Наутро чувствовала себя совсем разбитой. Днем пришел староста и предложил пойти вниз, в большую комнату, где можно было спокойно провести день, не боясь встречи с полицией. Комната большая, полупустая, в два окна. У одной стены, справа, широкая кровать, даже с пружинным матрацем и грязной подушкой — для некоего Беренского; слева у окна что-то вроде ложа для безногого, а для меня в комнату занесли остов дивана без подушек — одни доски. Этот остов по моей просьбе безногий перевернул ножками вверх, и получилось нечто вроде лежанки из досок. Измученная, я легла, подложив под голову свою корзинку с жалкими остатками вещей, и сразу забылась. Через пару часов проснулась от резкой боли: тело бурно протестовало против такого ложа. Часов в десять вечера пришел Беренский. Скинув одежду, быстро лег в постель. Комнату сразу же наполнила резкая вонь. Я открыла окно, возле которого лежала, и высунулась до половины: мне казалось, что я задохнусь.

Беренский стал расспрашивать, откуда я, зачем пришла. Он был вполне согласен со мной, что отсюда надо уходить подальше, невзирая ни на какие лишения.

Еле-еле дотянула я до рассвета. Кроме состояния разбитости, сон ничего не дал моему измученному телу. Перед самым рассветом я забылась и вдруг проснулась от странных звуков. Открыла глаза, огляделась по сторонам. Беренский спал мертвым сном, а его визави сидел и охотился за насекомыми на своем белье. Волна гадливости подкатила к горлу. Я не могла с собой совладать, повернулась к окну, распахнула его, заткнула уши, высунула голову и так проторчала за окном до тех пор, пока сосед не закончил свою «работу».

Утром пришел староста С. и предложил мне приписаться. Я начала просить его дать мне возможность пробить здесь еще несколько дней, пока у меня не заживет нога. Кроме того, я надеялась получить через знакомых паспорт и уйти отсюда. А в основном все во мне бунтовало против подношения немцу в «благодарность» за то, что попаду здесь в кабалу.

С тех пор как я очутилась среди этих людей, я почувствовала резкую грань между нами. Они со мной почти не разговаривали, держались все вместе, о чем-то говорили, иногда горячо спорили и сразу умолкали при моем появлении. Ни в ком из них, за редким исключением, я не встречала ни сочувствия, ни участия. Когда я жила в гетто в январе 1941 года, я не замечала такого отношения ни к себе, ни к кому-либо другому из обитателей гетто. Нас объединяло горе. Здесь же непреодолимая граница лежала между нами. Я — на одной стороне, почти все они — на другой.

Перед вечером, когда солнце село, а все обитатели вернулись с работы и оживленно беседовали, ко мне в комнату вошел С. и предложил немедленно принести ему часы или убраться отсюда. И вышел. Я подумала, что часы надо отдать, так как жить дальше в гетто бесправной — не получится. Поднялась, пошла вниз, взяла часы, глубоко запрятанные, вернулась и отдала их С. На лицах присутствующих промелькнула усмешка. Так я получила право на жизнь в новом гетто.

Остаток дня и ночь я провела в жутком состоянии. Мне казалось, что я отрезала себе путь к уходу, что все будут следить за мной, а кроме того, меня мучило, что еще и заплатила палачам. Отныне мне надлежало включиться в работу. Я холодела при мысли, что должна буду близко столкнуться с немцами и выполнять все, что мне прикажут. Наутро стала просить старосту освободить меня на этот раз от участия в работе. Он согласился и увел на работу остальных. Как только они вышли, жена старосты стала вслух выражать свое возмущение. «И находятся же такие, что умудряются уклоняться от работы даже сейчас», — слышала я ее скрипучий голос. Затем она добавила: «Все здесь одинаковые, теперь нет избранных». Я встала и решила: лучше на работе, чем целый день провести здесь. Спросила: «Куда они пошли?» И слышала: «К старой синагоге».

Чтобы дойти до старой синагоги, надо было пройти через весь базар, где взад и вперед сновали полицаи. В 8:30 утра, когда город уже полностью оживал, еврейке идти по этой дороге было далеко не безопасно, да еще и без разрешения от комиссара, а у меня такого еще не было. Каждый еврей обязан был иметь при себе этот вид на жительство.

С большим трудом добралась я до синагоги. С одной стороны, страх перед странствием, с другой — перед неведомым, так как об условиях работы всегда говорили завуалированно, даже таинственно. Обошла здание со всех сторон и не увидела в нем никаких признаков жизни. Все было закрыто и забито. Когда, взволнованная и расстроенная, я вернулась на кухню, женщины, сидевшие там, глянули на меня и постарались

скрыть улыбку. Позже я узнала, что никакой работы в синагоге не производилось, а С. просто хотела поглумиться надо мной. Мало того, она посоветовала мне идти через базар, так как знала, что я всегда боялась таких мест.

Вскоре я опять сбежала из гетто — и опять неудачно. Произошло это по следующему поводу: когда издевательства достигли апогея, когда мне нельзя было приготовить себе еду, потому что все, что я ставила на плиту, «нечаянно» отставлялось в сторону или сгорало, а силы мои падали с ужасающей быстротой, — тогда в какой-то день я проснулась на рассвете и заснуть больше не могла. И вышла во двор подышать свежим воздухом. Постояв некоторое время во дворе, вернулась и легла. Вскоре мое внимание привлек какой-то шум в коридоре. Я вышла и увидела кошку, выбегавшую из кладовой. Мною овладела тревога: это, наверное, из-за моей рассеянности дверь осталась открытой и кошка проникла в кладовую, где обычно хранила свои продукты жена старосты.

При мысли, что утром супруга С. начнет беситься и кричать, что ночью кто-то намеренно пустил кошку в кладовую, и, конечно, вся ее ярость обрушится на меня, — мною овладело такое отчаяние, что я подошла к своему узелку, выхватила перочинный ножик и с размаху три раза всадила в локтевую вену правой руки. Хлынула кровь, она пролилась на пол и на матрац, на котором я сидела, но через несколько минут кровотечение приостановилось. Таким же образом я разрежала себе вену на правой руке. И с нетерпением ждала желанной смерти. Но, к моему удивлению, вскоре поняла, что в таких условиях нужного результата мне не добиться. В ожидании посидела еще несколько минут, а затем спохватилась: скоро день, все встанут — и сколько насмешек обрушится на меня! Я вскочила, выбежала в коридор, опустила руки в бочонок с дождевой водой и смыла следы крови на полу, а следы свежей крови на матраце просто закрыла, пришив в виде заплатки какую-то тряпку. Утром я никому ничего не сказала. К счастью, на сей раз в кладовой продуктов не было, и все обошлось благополучно.

Однако днем силы меня оставили, и я спросила у одной женщины, где можно достать йоду. Лишь в четыре часа дня мне удалось смазать свои раны йодом. К моему удивлению, организм почти не среагировал на нанесенную ему травму.

На рассвете следующего дня я схватила свои вещи и опять ушла. Все спали, никто меня не видел. Я снова пошла через мостик мимо мельницы. Однако тут же решила, что идти дальше незачем и надо вернуться. Но какая-то женщина, неизвестно откуда появившаяся на дороге, удержала меня: «Куды ты, молодыце, идеш, то йды. Николы не звертай. Ты не можеш

знаты, що буде дали. Йды».¹ В этом я увидела какое-то предзнаменование и решила идти.

Вот уже поле. Вдруг меня нагнал обоз. Бесконечной вереницей один за другим тянулись возы. На переднем возу ехал немец, по-видимому, начальник обоза, а следом погоняли лошадей пленные, все наши мужики. Смотрю, вереница телег остановилась, и молодая женщина с ребенком на руках подошла к немцу и попросила разрешения поехать с ним. Ей позволили, и она села на воз, где сидел начальник. Вдруг один из возниц крикнул: «Пан, ось ще жинка, дозвольтэ взяты на виз».² Оказалось, что речь шла обо мне. Через секунду я сидела на возу. Мой возница, молодой парень с несколько туповатой физиономией, сказал мне, ухмыляясь: «Мы до Днепропетровська йдемо, а потим до самого Ленинграда дойдемо».³ Я решила подчиниться судьбе — хуже, чем в гетто, не будет.

Так как все предыдущие ночи я спала очень мало, то сейчас, усевшись глубоко на возу, на мягком пушистом сене, невольно склонила голову и задремала. Открыв глаза, заметила изумленный взгляд моего возницы. В это время только евреи бродили с места на место, не имея возможности отдохнуть и поспать. Видно, мое сонливое состояние в необычное время заставило его насторожиться. Он погонял лошадей и все время поглядывал на меня. Проезжая мимо поворота на Степкивку, я, сама не зная для чего, сказала: «А по этой дороге я рассчитывала пойти». Он вдруг встрепенулся, замахал кнутом и закричал: «Цей жинци не в дорози, зупыныться».⁴

В один миг очутилась я на земле, а возы покатали дальше. Стою и корю себя: зачем ляпнула ненужное! Ведь могла уехать очень далеко и никогда больше не видеть гетто и его обитателей. А возы тянутся и тянутся. Решила: все-таки поеду, а там будь что будет. Пропустив большое количество возов, стала проситься к какому-то дядьке. По виду немолодой, лет сорока пяти. Я — к нему. Он остановил лошадей, приветливо поздоровался и взял на воз. Едем. Дядько все поглядывает на меня и спрашивает: «Скажи, тетка, ты не цыганка?» — «Чого б це я мала буты цыганкою?» — отвечаю я. «Та не бийся, скажи», — убеждает он меня. — «Я не маю, чого боятыся, я не цыганка! — «Ты дуже схожа», — слышу я в ответ. «От ще, — говорю я развязно, — люды кажуть, що я дуже схожа

¹ Куда ты, молодая, идешь, туда и иди. Никогда не возвращайся. Ты не можешь знать, что будет далее. Иди (укр.).

² Господин, вот еще женщина, разрешите взять на воз (укр.).

³ Мы до Днепропетровска едем, а потом доедем до самого Ленинграда (укр.).

⁴ Этой женщине не на дороге останавливаться (укр.).

на грузинку». — «Ни, то грузины, а то цыганы», — говорит мой попутчик. — «А я тильки звычайна украинка», — говорю я. И меня охватывает желание сойти с воза, ехать с ним пропала охота. «А куда вы идете?», — спрашиваю я. — «До Днепропетровська», — отвечает он. — «А як же до Києва мене добиратися. Я сама з Горлівки и хочу до родичив попасти». — «От тоби й на! Це ж назад вертатися», — говорит дядько. — «Беда, мабуть треба злизты», — говорю я. — «А вже ж», — отвечает мне дядько и останавливает лошадей.¹

Стою при дороге и гляжу, как тянутся возы. Конца-края не видать. Наконец едет кухня. Молодой белокурой парень с разбойничьим лицом, в шапке набекрень, с большим чубом, соскакивает ко мне. «Продай, тетка, что-нибудь повару на халат». — «Що ж я тоби, сыночку, дам, як я ничего не маю». Он пристально всматривается в меня и говорит: «Ты цыганка?» — «Чого же причепылыся?» — говорю я. Он смотрит еще пристальней и говорит: «Ты жидивка?» — «Господы, боже ж мий, — говорю, — я звычайна жинка, я украинка».² Он оглянулся и увидел, что повозка с кухни далеко уехала, махнул рукой и побегал. Теперь у меня уже окончательно отпало желание ехать. Я свернула с дороги и пошла по направлению к лесу.

Вошла в лес. Села. Задумалась. Как быть? Конечно, мое путешествие без документов бессмысленно. Догадайся кто-нибудь потребовать у меня документ — я пропала.

Я просидела в лесу целый день и решила попроситься на ночь в ближайшем селе. Несколько раз шла туда, но, не доходя до села, возвращалась. У меня не хватило мужества войти. Пойду из леса, услышу шаги — спрячусь. Заглохнут шаги, проедет телега — опять иду и опять возвращаюсь. Так я ходила взад и вперед, пока не наступил вечер. Затем зашла в лес, выбрала местечко, легла и забылась. Здесь спать мне было удобнее, чем в гетто, пугала только лесная темень.

Меня разбудила утренняя свежесть. Открыла глаза и сразу вспомнила, где я. В лесу еще совсем тихо. Но вот послышался шорох, затем слабый писк, и птичий голосок «погиб! погиб!» прорезал воздух. Затем «погиб, погиб» раздалось сразу с нескольких сторон, и как нельзя больше подходил этот

¹ «Чего бы это я могла быть цыганкой?» — «Да не бойся, скажи.» — «Я не понимаю, чего бояться, я не цыганка!» — «Ты очень похожа.» — «Вот еще, люди говорят, что я очень похожа на грузинку.» — «Не, то грузины, а то цыгане.» — «А я только обычная украинка.» — «А куда вы едете?» — «До Днепропетровска.» — «А как до Києва мене добиратися. Я сама из Горлівки и хочу к родным попасти» «Вот тебе на, надо возвращаться.» — «Беда, видимо надо слезать» — «А как же» (укр.).

² «Что же я тебе, сыночек, дам, так как ничего не имею.» «Чего прицепились.» «Господи, Боже мой, я обычная женщина, я украинка» (укр.).

крик к моему настроению. Во время этих скитаний я узнала, что какая-то лесная птичка произносит это слово удивительно ясно.

Выхожу из леса на дорогу и машинально повторяю: погиб, погиб. На небе зажглась Аврора.¹ Величавая красота и спокойствие этой яркой картины врезались в мое сознание. Глядя в небо, шла я по дороге, не отдавая себе отчета в том, куда иду. Вдруг навстречу мне показался грузовой автомобиль с ярко горевшими фарами. Поддавшись какому-то странному чувству, я, поравнявшись с машиной, вдруг подняла руку. Шофер тотчас остановил машину. Одетый в немецкую форму шофер крикнул мне: «Чего тебе, тетка?» — «Дозвольте сесть, я устала», — крикнула я. — «Куда ты идешь?» — «Я иду в Кировоград». — «А я еду в Ново-Архангельск». — «Это по дороге, — крикнула я ему. — В Ново-Архангельске вы меня оставите, и я как-нибудь доберусь». — «Иди, садись», — услышала я и увидела, как открылись дверцы кабины... Тепло в кабине, возможность сидеть, близость человека — все так на меня повлияло, что я отбросила мысль об опасности. В голове, правда, пронеслась мысль: «Приедет, сдаст властям и... смерть». Но мне было так тепло и хорошо сидеть в машине, тело помимо моей воли и сознания так наслаждалось своим случайным положением, что мысли о том, что меня ждет, не задерживались у меня в мозгу.

«Зачем ты едешь в Кировоград?» — спросил мой сосед. Он правил машиной и часто поглядывал на меня, будто тщательно изучая. К этому вопросу я не была готова. Моя голова так устала, тело так жаждало покоя и отдыха, что я не сразу смогла заговорить. Мобилизовав все свои силы, с трудом выговорила: «Я иду к сыну, сын мой на войне, но там живет его жена с детьми. Я получила известие, что им очень плохо живется. Иду к ним, чтобы как-нибудь помочь», — говорила я, еле ворочая языком и чувствуя всю неубедительность моих слов. Произнесла эти несколько фраз и умолкла. Привычное чувство безразличия и глубокого равнодушия овладело мной.

Вдруг чувствую, что машину затормозили. Шофер вышел из кабины, встал у дверей, положив руку на дверцы. «А ну, выходи», — услышала я. И вышла. Дверцы кабины с силой захлопнулись, и машина ушла.

Я огляделась. Мне показалось что, выйдя утром из леса, я уже шла по этой дороге. Почувствовала, что бороться, идти в неведомое — на это не хватит сил. Тело властно требовало покоя. И я направилась обратно в Умань.

Светало. Туман был такой густой, что деревья и люди вдруг внезапно появлялись и так же внезапно пропадали, как

¹ Занялась утренняя заря.

бы проваливаясь куда-то. Дорога пошла незнакомая. По песку и камням, насыпанном по обеим сторонам дороги, видно было, что здесь работают несчастные люди из лагерей. Скорее прочь отсюда, чтобы меня тут не застали!

У встречного мужика спрашиваю дорогу на Умань. Узнаю, что иду правильно, но другой, незнакомой дорогой. Иду быстро, наконец поравнялась с домиками. Городское предместье постепенно начинает оживать. То одна хозяйка выгнала корову, то с ведрами к колодцу прошла другая. Вижу, что я начинаю привлекать внимание. Молодая женщина с яркими черными глазами смотрит на меня не отрываясь. Дохожу до угла. Вдали видна деревянная церковь. Прохожу еще несколько шагов и останавливаюсь. Меня охватывает такой страх, что я стою как вкопанная. Во двор, возле которого я стою, вышла старуха, взглянула на меня, ушла в дом и скоро вышла опять. Стоит и смотрит. Напротив стоит пожилая женщина, к которой из ближайших домов подошли еще две. И все глядят на меня. Слышу, как пожилая говорит: «Я вже давно дывлюсь, як вона стоить. Може вона хоче втопытись. Молодычка, йди сюды!»¹ — кричит она мне. Я повернулась, зашла в ближайший двор и попросила у старухи воды. Она вынесла мне воду — не в кружке, как обычно, а в чашке с блюдцем. Я выпила, поблагодарила. Меня несколько удивило, когда я увидела воду в красивой чашке да еще с блюдцем, но задумываться над этим было некогда. Как-то запечатлелось грустное выражение лица старой женщины. Позже до меня дошло, что в этом предместье меня узнали.

Отошла на небольшое расстояние и опять остановилась. Животный страх сковал мои движения.

Вдруг я заметила двух немцев, третий с ними — украинец. Они шли мне навстречу. Увидев их, быстро свернула в первую же улицу направо, а оттуда спустилась вниз к речке. Навстречу мне катил закрытый автомобиль, за рулем был немец. Я наклонилась к реке и стала мыть ноги, а затем быстро зашагала в город, к базару.

Базар — в разгаре. Толпа большая. Опять чувствую, что меня охватила страшная робость. Вдруг какая-то женщина из толпы подошла ко мне. «Хотите, я проведу вас?», — сказала она мне. И я пошла за ней. Она далеко обошла базарную площадь и вывела меня на ту улицу, в конце которой жили евреи.

Иду медленно. И вдруг у развалившегося дома вижу повозку, а возле нее — девочку из гетто Мару и Иду Г. с дочерью. Они выбирают целые кирпичи и складывают на воз. Я шмыгнула в полуразрушенный дом рядом и решила переждать, пока они

¹ Я уже давно удивляюсь, как она стоит. Может она хочет утопиться. Девушка, иди сюда (укр.).

удет. Однако ждать мне пришлось недолго: в дом, где я притаилась, зашла Мара и, увидев меня, с хохотом бросилась оттуда. Вслед за ней заглянула дочь Иды и тоже со смехом выскочила. Чувствуя себя чрезвычайно неловко, я вышла из засады. Девочки хохотали, показывая на меня пальцами. Ида, еле сдерживая улыбку, старалась их успокоить. Недалеко сидел рыжеватый человек, русский, с добрым выражением лица и красным носом пуговкой. Он смотрел на меня и на них с недоумением.

«Смотрите, — крикнула Мара, — вы знаете, кто это? Это жена нашего врача. Вы знали доктора Б.? Это его жена. Смотрите, как она одета! Она все хочет спастись!» И опять приступ смеха. «Вы жена Б.?» — спросил меня русский, и во взгляде его была глубокая грусть. Я утвердительно кивнула и опустила голову. Говорить не могла: спазм сдавил горло. Я немного постояла, успокоилась, затем спросила у Иды, кто это. Она сказала, что это десятник при текстильной фабрике, по фамилии Бабкин. В его распоряжении были евреи, работавшие на стройке при фабрике. Он оказался вполне порядочным человеком, говорили даже, что он партиец. Позже я узнала: работать у него было хорошо. К евреям он относился очень сочувственно. Я подошла к Бабкину и попросила его зачислить меня на работу. Он охотно меня записал и велел прийти на следующее утро.

И опять я пошла в гетто. С глубоким волнением входила в ненавистную кухню, к ненавистным мне людям. Вошла, с трудом передвигая ноги. Сказывалось и страшное переутомление, и ночевка в лесу, и вообще все пережитое.

В кухне сидела Элка Д., жена убитого мясника. Она тоже чудом уцелела, все это время скрываясь по деревьям у знакомых крестьян. А теперь вынуждена была искать пристанища в гетто. Она умела шить и быстро нашла себе покровительниц среди жер «начальников».

Я поздоровалась и опустилась на стул. «Зачем вы ушли? Разве вы не знаете, что идти некуда? С. на вас очень сердится», — сказала Элка.

В этот момент в кухню вошла дочь старосты. Увидев меня, немедленно пошла за отцом, и вскоре оба они предстали передо мной. «Папа, выгони ее», — были ее первые слова. Вся кровь отхлынула у меня от лица. Видно, я страшно побледнела, горло сдавило так, что я не могла произнести ни слова. Меня сотрясала мелкая дрожь. «Дора, уйди, я тебя не спрашиваю», — сказал С. дочери и обратился ко мне: «Ну, что вы успели? Вот и пришли». Я молчала. Тут опять заговорила его дочь: «Папа, у нее документ от комиссара, который ты получил для нее, а она изображает украинку. Какой вид имел бы ты у комиссара, если бы ее поймали? Как бы ты

оправдался? Ведь ты отвечаешь за каждого жителя гетто». С. махнул рукой, нагнулся над моими корзинами, стоявшими неподалеку, и приступил к обыску. Выкинул все содержимое: жалкое барахло, несколько таблеток аспирина и еще кое-что из медикаментов. Все это схватила его дочь и бросила в плиту. И икона, которую дала мне в дорогу А.Н., тоже полетела туда. «Что вы делаете?» — вырвалось у меня, и я тут же умолкла. На большую реакцию не хватило сил. Мыло и махорку он отдал мальчику, тоже стоявшему здесь, и велел унести этот чрезвычайно дефицитный товар в комнату.

Пересмотрев все, С. поднялся и вышел. Я зашла в соседнюю полупустую комнату и крепко задумалась. Теперь мне стало ясно, что без документов скрываться бессмысленно. Я твердо решила добиваться паспорта. Вскоре ко мне зашел С. Я с удивлением посмотрела на него. «Извините меня, — сказал он, — я не имел права на обыск». Я молчала. Он постоял, затем вышел.

В тот день я узнала, что недавно из Первомайска привезли на машине шестьдесят цыган и все они были расстреляны. Теперь мне стало понятно, почему мои случайные встречные видели во мне цыганку.

Итак, я осталась — всерьез и надолго. На другой день пошла на работу и с этого времени стала регулярно ходить в большой дом — наше бывшее гетто, находящееся неподалеку. Этот дом ремонтировался для текстильной фабрики. Руководил работой Бабкин.

Через несколько дней он поставил меня сыпать песок под деревья сада, и я была вполне довольна такой работой. Вскоре я стала замечать, что за мной внимательно наблюдают евреи, работавшие рядом. Скоро я поняла, в чем дело. Мара и некоторые другие обитатели гетто считали меня полубезумной. Мара рассказывала, как я, увешав себя большим количеством крестиков и иконами, ходила из села в село, переодевшись простой селянкой. Она сопровождала свои рассказы множеством смешных деталей и сама покатывалась со смеху. Слушатели тоже обычно хохотали, хотя многие недоумевали и говорили, что не замечали во мне никаких признаков безумия. Когда до меня порой доходили подобные разговоры, я старалась внешне абсолютно не реагировать, но переживала все это чрезвычайно тяжело, впечатление от этих пересудов было гнетущее, давящее душу.

Мое положение с жильем тоже было весьма неприятным. Староста предоставил мне выбор: или комнату внизу, где жили Беренский и безногий, или наверху — в проходной комнате. Спать внизу для меня было мучительно, так как невольно приходилось наблюдать, как соседи по комнате охотятся за вша-

ми. Вверху — духота и вонь из соседней комнаты, где жили пять человек, и это было невыносимо. В конце концов я как-то приспособилась, достала матрац, поставила его на кирпичи и окончательно утвердилась в комнате наверху.

Однажды утром узнаю, что жена Т. расщипывает поменять местожительство и посягает на мою комнату. Я ушла на работу, оставив все как обычно. Прихожу днем и застаю все выкинутым, а матрац выставлен в коридор. Обращаюсь к старосте за защитой, он говорит, что против жены Т. бессилён.

Сию во дворе, на ступеньках, и еле сдерживаю слезы. Кто-то смотрит на меня безразличным взглядом, кто-то с глубокой грустью, сочувствием, но никто не обронил и словечка в мою защиту. Так просидела я до позднего вечера. Все разошлись по своим углам, а я не знала, куда приткнуться. Поздно вечером один из обитателей гетто предложил мне угол в своей многонаселенной, тесной комнате. Мои новые соседи оказались приличными и тихими людьми, и я спокойно прожила там некоторое время.

Утро в гетто начиналось довольно рано. Раньше всех вставал и выходил на улицу староста, или, как он с усмешкой говорил про себя, «жидовский президент». Выйдет, потягиваясь, сядет на лавочку. К нему присоединяется кто-нибудь из обитателей — смотришь, собирается несколько человек. Сидят, спорят, обсуждают кое-какие дела. Затем выходят жены, останавливают проходящих крестьян, покупают у них продукты. Евреи покупали самые лучшие, самые дорогие продукты. Селяне знали, что здесь можно продать дороже и быстрее, и приносили туда все, что могли. Евреи видели в еде последнюю возможность наслаждения и всецело ему предавались. Продавали вещи и покупали продукты. Разрешали себе то, чего никогда не позволили бы в другое время. Иногда в гетто украдкой приносили пирожные — брали нарасхват. Словом, спешили насладиться, ели и смаковали.

Топилась плита, обитатели гетто готовили завтрак и к семи часам уходили на работу. Дома оставались избранные: жены «власть имущих» и те, кто сумел «приблизиться» к старосте, а потому находился под его покровительством. В два часа собирались на обеденный перерыв, а затем — опять на работу, до вечера. Прожив почти три месяца в гетто, я с большим трудом через украинских друзей достала паспорт на имя одной украинки, работавшей раньше санитаркой в клинике моего мужа. Но даже с паспортом на руках я долго не решалась отправиться одна и все ждала подходящего момента.

Как-то днем, когда все женщины были заняты очисткой кирпичей, недалеко от дома, где мы жили, остановилась грузовая машина. Мы все удивленно уставились на нее. Ма-

шиной правил немец. Из кабины выскочил здоровенный парень, одетый в дорогой штатский костюм, с пышным галстуком, а из грузовика выползли две фигуры, заставившие нас содрогнуться. Двое мужчин, босые, одетые в черные грязные костюмы, с глазами, горящими голодным блеском, обросшие, с всклокоченными волосами, направились к полуразрушенному домику, находящемуся неподалеку. Все время, неотрывно глядя на нас страшными глазами, непрерывно повторяли: «Евреи, спасайте!» — и скрылись в домике в сопровождении блестяще одетого господина.

Мы замерли, не понимая, что все это значит.

Оказалось, что эти двое, всем известные братья К., были из лагеря. Не в силах выдерживать дальше лагерный режим, они обещали найти ценности, которые, по их предположениям, были кем-то запрятаны в этом домике. Их перевели из лагеря в тюрьму и оттуда уже два раза возили к этому месту. Вскоре из домика послышался стук молотка и треск досок.

А евреи собрали еду — сколько смогли — и передали этим несчастным. Надо было видеть, в какой невыносимо грязный мешок свалили братья К. полученные продукты и с какой ужасающей, звериной жадностью набросились на пищу. Через полчаса их увезли обратно. Клада они так и не нашли и через некоторое время были убиты.

Спустя несколько дней, утром, к этому же домику подъехал грузовик, по виду — глухой ящик, и остановился неподалеку. Из него вышла молодая девушка, зашла в домик и через десять минут вернулась — в ее руках был глиняный горшочек с ценностями. Все забрал немец, и машина покатила дальше. В определенных местах машина останавливалась, каждый раз кто-то выходил — и возвращался то с большим, то с маленьким свертком. Так несчастные люди стремились спасти себя, вырваться из страшных когтей.

Однажды из лагеря прибыли несколько человек, которые получили право переселиться в гетто. Кое-кто из них заплатил за «свободу» большие деньги, а двоих, по рассказам, освободили благодаря просьбам брата одного из них, работавшего врачом у двух главарей из СД. Вид этих «освобожденных» был ужасен. Все они были невероятно худыми и отечными, со страшными огромными глазами. Долго пришлось им восстанавливаться до более-менее нормального состояния. Рассказывать о жизни в лагере они не хотели, и ничего, кроме общих фраз, добиться от них было невозможно.

Дочь одной из жительниц гетто сбежала из лагеря и появилась у матери. Побег удался, потому что она была очень похожа на украинку и по дороге говорила, что удрала из эшелона, который отправлялся в Германию. Селяне относи-

лись к ней сердечно, поэтому она и смогла добраться до нас. Как и все лагерники, она была отекавшая, с ужасными ранами на ногах. Мать принесла старосте хороший «выкуп», тот ее приписал и не гонял на работу. Через некоторое время дочка поправилась, раздобрела, приделалась, сошлась с молодым портным К., у которого убили жену, и решила, что все еще не так плохо: жить можно. Мать достала для нее документы, и та могла бы свободно уйти. Но сытая жизнь, близость матери, молодой муж и настойчивые, убедительные уверения старосты: не бояться, верить в то, что все страшное позади, — все это удержало ее. Она осталась и, конечно, погибла, как почти все те, кто остался.

Вообще, со временем все большее спокойствие овладевало в гетто многими евреями. У людей стало поправляться здоровье, они даже набирали вес. Явилась потребность приодеться. И было странным видеть оживленные лица тех, кто сидел во дворе длинными летними вечерами. Спокойная и сытая жизнь в гетто привлекала многих. Каждый день появлялись новые люди, которые стремились договориться со старостой и получить местечко в гетто. Некоторым удавалось добиться расположения старосты и остаться, а другие, безрезультатно походив несколько дней, уходили куда-то в пространство...

Однажды в гетто переехали те, что по особому разрешению жили в городе. Они заняли два ближайших дома. Среди них было несколько юношей и девушек. Сидели допоздна, подолгу разговаривали — постепенно стало возникать взаимное влечение. Не отдавая, наверное, себе отчета в своем истинном положении, стали заключать браки. Религиозная часть этого сообщества требовала соблюдения всех деталей ритуала. И вот испекли пряники, принесли водку, пришли гости, и гетто сыграло первую свадьбу. За ней последовала вторая. Старшие давно уже устроили свою личную жизнь. Теперь сходились молодые. Все стремились получить от этой жизни как можно больше.

Как-то раз жена Г. пришла домой в очень хорошем настроении: кто-то передал ей слова начальника полиции Тонкошка, что отныне евреи могут спокойно готовиться к зиме, заготавливать дрова, чтобы обеспечить теплом свои квартиры. У меня в страшной тревоге сжалось сердце: в этом я увидела дурное предзнаменование, близость всеобщего истребления.

Надо было готовиться к уходу.

Я регулярно ходила на работу и все обдумывала, как отсюда уйти. Посоветоваться, поделиться с кем-нибудь было опасно. Одна из жительниц, некая Клара Л., привлекла мое внимание своим скромным видом, тихим голосом и спокойными

манерами. Никогда не принимала участия в спорах, не любила насмешек и никогда ничего плохого не разрешала себе в отношении кого бы то ни было. Человек, с которым она жила, был отъявленным негодяем, из бывших еврейских полицаяев, и это заставляло меня задуматься. Было странно, как такая тихая и скромная женщина живет с такой нечистью.

Как-то раз на работе по очистке кирпичей рядом оказались Клара Л. и Ида Г. Не помню, что разозлило Иду, но она вдруг сказала Кларе: «Ты думаешь, Клара, я не знаю тебя? Это сейчас ты ведешь себя так скромно и играешь роль порядочной женщины. Ты рассказываешь, что твой первый муж репрессирован и сослан, в общем, пострадал за политику. Если бы ты была украинка — была бы в большом почете. А на самом деле твой муж — карманный вор. Ездил со станции Умань до станции Казатин и вырезал карманы у пассажиров. А ты? Я тебя хорошо помню до войны. Кем ты была? Помнишь, как я уже при немцах зашла и застала тебя с Карлом? Ты и немцем не брезговала». К величайшему моему удивлению, та, к которой все это относилось, невозмутимо продолжала свою работу. Ни один мускул не дрогнул у нее на лице. А как раз именно этим утром она рассказала мне, что ее первый муж репрессирован и она даже не знает — за что. Все это глубоко меня поразило. Так вот кто она, самая симпатичная мне женщина в гетто, — профессиональная проститутка!

Невольно я вспомнила одного старика — отца бухгалтера Г. Это был умный и славный старик. После первого погрома он заявил своим детям, что прятаться больше не будет и предпочитает быть убитым. «Зачем и для чего останусь я жить в этом обществе, в этой обстановке, даже если меня почему-либо оставят в живых? С кем жить буду, с кем встречаться? Ведь самые лучшие будут истреблены, останутся те, кто умеет прятаться по чердакам, унижать себя и других и приспособливаться? Нет. Жизнь в таких условиях, с такими — для меня лишена всякого интереса».

И 8 октября пошел на казнь.

Как-то днем к нам пришли жандармы и начали проверять, кто из евреев уклоняется от работы. Слава богу, никого не было дома, кроме старосты и тех, кому можно было на работу не идти. Застыв от страха и волнения, смотрели мы издалека, как жандармы ходили из квартиры в квартиру.

В это время у меня на пальце правой руки образовался нарыв под ногтем. Днем я колебалась — идти на работу или остаться дома — и, к счастью, ушла. Я, видимо, вогнала в палец занозу, и его страшно раздуло. На следующий день пришлось все-таки пойти в поликлинику за больничным листом, так как работать было невозможно.

В 9 часов утра я отправилась в поликлинику и встала в общую очередь, чтобы записаться и получить карточку. Стою, а сердце бьется в бешеном галопе. Каждый входящий, нечаянно направляющий взгляд в мою сторону, заставляет сжаться от страха. Попадешься на глаза негодяю — избьет и выгонит. Наконец получила желанную карточку. Наверху, перед дверью хирурга, опять те же переживания. Случайно вышедшая фельдшерица оказалась старой знакомой, узнала меня и немедленно повела в кабинет. Беглый осмотр — и врач приступает к удалению ногтя.

Эта операция страшно болезненна. Но сейчас положение особое. Невольный стон срывается с моих губ. Все остальное переношу молча. Затем наскоро перевязка — и надо уйти. Голова кружится, в глазах темнеет, тело жаждет лечь. Но передо мной распахивают дверь, и я выхожу. Шатаюсь, как пьяная, иду по коридору, каким-то образом схожу с лестницы и выталкиваю себя наружу.

На дворе дождь. Поднимаю лицо вверх и жадно представляю его под капли дождя. На секунду как будто легче, дышится ровнее. Но идти совсем не могу. Прошла немного вниз по улице. Навстречу немцы. Чувствую, что могу привлечь внимание. И вдруг меня начинает мутить. Я поворачиваюсь, наваливаюсь на забор, нагибаюсь, будто поправляю туфлю, чтобы скрыть свое лицо. Немцы проходят мимо. Ко-е-как плетусь дальше, добираюсь до боковой улицы, ведущей к гетто. Здесь не так опасно: немцы сюда обычно не заглядывают, полицаи на этой дороге тоже редки. С большим трудом добираюсь до дома, где живу, и останавливаюсь в изнеможении на пороге своей комнаты. «Что с вами, какая вы страшная», — встречает меня одна из обитательниц гетто, протягивает мне руку и подводит к кровати. Я сваливаю и корчусь от боли.

Через пару дней пришли из города тревожные вести: сегодня полиция и немцы повели на расстрел около ста двадцати человек пленных. Впереди торжественно шел начальник полиции Тонкошкур. По рассказам, в лагере для военнопленных был раскрыт заговор. Называли фамилии знакомых врачей, которые попались, и сердце сжалось от боли и ужаса.

Ранним вечером все сидим во дворе. Разговор идет о том, как попались пленные и кто их выдал. Вдруг входит наша соседка М.К., совершенно бледная, и дрожащим голосом говорит: «Вы тут спокойно беседуете, а к старосте пришел гонец из СД, и всем приказано немедленно явиться». В первую минуту все замерли на месте, а потом стали собираться.

Все происходило молча. Я не знала, что предпринять. В голове стремительно проносились обрывки каких-то

мыслей, и в то же время, как обычно в минуты опасности, мной овладело безразличие.

Вскоре разнеслось, что тревога ложная, что в действительности зовут по какому-то делу только одного еврея, а полицейский не понял, зачем его посылают в гетто, и приказал явиться всем. На этот раз все закончилось благополучно.

Возвращаюсь как-то на работу после обеденного перерыва. Еще никого нет. Сидит только старый каменщик М. Вижу, смотрит на меня, и в глазах какой-то необычайный свет. И вдруг, оглянувшись, он обращается ко мне: «Не горюйте, верьте, наступит время, когда фашизм погибнет. После этой войны будет еще война — война мирового пролетариата с буржуазией, и мировой пролетариат победит!» Я широко открыла глаза и в первую минуту не поняла, о чем он говорит, а потом, осознав, радостно засмеялась. И так хорошо, так светло стало на душе от того, что в этой мерзкой обстановке, в это проклятое время, прозвучало слово бодрости и надежды. Я, вообще-то, давно заметила, что этот молчаливый старик ведет себя не так, как другие. То заберет у меня лопату из рук, сам под каким-то предлогом замесит ящик с песком и глиной, то отберет ведро с водой, а то, стоя на лесах, присядет и выхватит у меня из рук тяжелое ведро, которое я изо всех сил стараюсь вытянуть наверх. Теперь многое стало понятно.

После работы к нам зашли двое жителей гетто и предложили внести по несколько рублей в пользу мучеников лагерей. По разрешению комиссара евреям позволяли время от времени отвозить в лагерь продукты. На собранные деньги закупили мешки огурцов, лука, хлеба для всех, а кроме того, были еще посылки частного характера к родным и друзьям — от тех, кто освободился из лагеря. Бывали случаи, когда на этой почве возникали бурные споры и ссоры. Одни обвиняли других в скупости, другие видели в этом чью-то личную заинтересованность. А иногда дело доходило даже до драки. Тогда старосте приходилось вмешиваться и успокаивать расходившиеся страсти.

Обычно подвода, нагруженная доверху, отправлялась в путь в сопровождении одного из жителей гетто. Чаще всего ее сопровождал тот, у кого в этом лагере был кто-нибудь из родных. Один раз с машиной поехал староста. Вернулся оттуда в ужасном состоянии, потрясенный, и несколько дней, не переставая, плакал.

Однажды один из посетителей лагеря, вернувшись, рассказал: его родственник, мальчик лет пятнадцати, мучился в одном из лагерей. Это был крупный, здоровый мальчик. Он каждый день ходил на работу по ремонту дорог, переносил все тяжести лагерного режима и в конце концов дошел до край-

него истощения. Однажды утром немец не пустил его на работу и велел идти за собой. Мальчик понял, куда его ведут, начал плакать, молить о пощаде. Немец отшвырнул его к забору и навел револьвер. Выстрел. Мальчик вскрикнул, весь сжался и ждал конца. Но пуля пролетела мимо и засела в заборе. Второй выстрел. Опять мальчик вскрикнул и ждал конца, затем открыл глаза, почувствовав, что еще жив. И снова выстрел. Так довольно долго немец стрелял, и вокруг несчастного ребенка свистели пули и с треском врезались в дерево. Мальчик сначала дрожал в ожидании выстрела, кричал, вздрагивал, а потом перестал реагировать и, как страшная тень, стоял, прислонившись к забору. А немцы смотрели на это с большим интересом. Когда мальчик перестал реагировать, немец спрятал револьвер и велел ему отправляться на работу. На этот раз он решил его не убивать.

Как-то на работу не вышла жена мясника Элка Д. Придя с работы, я застала ее лежащей на диване в чужой комнате. К вечеру ее состояние ухудшилось. Наутро перед старостой встал вопрос: что делать с больной? Сообщить, чтобы забрали в больницу, нельзя, так как больных евреев немедленно расстреливали. Так, незадолго до моего прихода погибли двое из гетто. Заболевшую женщину забрали будто бы в больницу, но отвезли на свалку и пристрелили, а мужчину почему-то застрелили в самом гетто. Как и по какой причине так получилось — я не дозналась.

Евреи заволновались и решили никому не говорить о заболевшей. Но потом оказалось, что за больной женщиной нужен уход, однако никто из жителей гетто не хотел этим заниматься. Дочь С., медичка, категорически отказалась, и отец всячески старался ее выгородить. Мне было очень жаль заболевшую — ее одиночество и заброшенность так ясно говорили о том, в каком положении находимся мы все, что я сразу же начала за ней ухаживать. Через несколько дней больная умерла, ее похоронили недалеко от гетто, на пустыре. Увидев, что смерть одной из обитательниц не вызвала никакой реакции со стороны властей, я стала еще старательней готовиться к побегу. До этого случая я все-таки верила разговорам, что за исчезновение кого-либо из гетто ответственность будет нести староста.

Но снова пуститься в дорогу, даже с паспортом, у меня не хватало решимости. На меня всегда очень скверно влияло пребывание в гетто. Я утрачивала спокойствие, теряла смелость, мною овладевал страх.

Однажды в гетто пришла женщина из Терновки. Она выросла в селе, прекрасно владела украинским языком и была очень похожа на украинку. Ей удалось бежать из Умани в родное село, там она прожила до этого времени среди знако-

мых селян. Она рассказывала, что из Терновки легко можно переправиться в Бершадь — это местность, оккупированная румынами, там евреям жилось значительно легче. Я рассказала ей о своем стремлении уйти отсюда. Она поддержала меня и предложила проводить до Терновки. О жизни в Терновке отзывалась неплохо, но на вопросы о терновском старосте отвечала уклончиво. Каково же было мое удивление, когда об этом терновском старосте, Дудыке, другие люди, приехавшие оттуда же, рассказали мне, что этот отъявленный негодяй — между прочим, родственник нашего старосты С., — сделавшись старостой, совсем распоясался. Он обирал всех, кто попадал в тамошнее гетто, подвергал самым бесцеремонным и оскорбительным обыскам; каждую молодую женщину, попадавшуюся ему на глаза, заставлял сожительствовать с ним, в противном случае жестоко избивал. Еврейка, предложившая сопровождать меня в Терновку, тоже стала жертвой Дудыка. Он бессовестно обобрал ее, и она бедствовала. В Умань пришла, чтобы взять кое-что из своих вещей, которые, очевидно, где-то спрятала.

Узнав такие подробности о терновском старосте, я решила через Терновку не идти и ждать другого подходящего случая.

Семья, от которой я узнала, что представляет собой Дудык, приехала сюда, спасаясь от его преследований. Эта семья состояла из четырех человек: отца, матери и двух детей. Старшая дочь, лет двадцати, была очень хороша собой, и Дудык донимал ее своими домогательствами. В конце концов ему надоело ждать, и он пригрозил ей более решительными мерами. Они все надеялись перебраться в Румынию, но по каким-то причинам переход в Румынию не состоялся. И они поехали в Умань, благо оставили здесь у знакомых украинцев много добра. Им разрешили устроиться в соседней квартире, и они начали выносить оттуда горы мусора.

Как-то раз я пришла с работы немного раньше обычно. Несколько дней тому назад вышла замуж красавица К., дочь нашей соседки Мани К. Зять до войны был женат, имел двоих детей, семью отправил в глубь страны, а сам пошел воевать. Попал в плен и дождал до этой поры. Он все время жил в городе, работал на моторемонтном заводе. Только недавно был водворен в гетто. Моя соседка по комнате Гинда Ф., ее девочка Соня и женщина, приехавшая из Терновки, горячо обсуждали такое важное событие, как свадьба в гетто. Я присоединилась к ним. Невольно сорвалось с губ: «Лучше бы думали о спасении, чем о замужестве. Здесь всех перебьют, как курчат». Моя тихая соседка Гинда Ф. рассвирепела и, залившись краской, сказала: «Я прошу вас никогда мне об этом не говорить. Я верю в бога, верю, что он поможет и боль-

ше ничего не будет». — «Да, на бога надейся, а сам не плошай», — тихо ответила я. Тогда она сердито заявила мне: «Хотите — идите отсюда, кто вас держит?» Встаю и ухожу от них. Слышу, как она говорит: «Сумасшедшая, разве вы не видите? Все идти и идти. Ну, пусть идет, если хочет». — «Сумасшедшая, это точно», — слышу вслед. Я стою у окна и терзаю себя: почему я не выдержала и сунулась к ним со своими советами!

А уйти надо. И чем скорее, тем лучше. Но как идти, когда страх сильнее воли? С одной еврейкой, навещавшей меня в гетто, — она скрывалась у одной знакомой украинки в предместье — я поделилась своими сомнениями, рассказала ей, что хочу уйти, но страх парализует меня. Хотелось бы выйти за пределы города с какой-нибудь украинкой, если бы такая нашлась. И эта женщина рассказала обо мне и моих переживаниях тем людям, которые ее приютили.

Прошло несколько дней. Как-то на рассвете я в тоске и тревоге бродила вокруг дома, в котором жила, — не зная, что предпринять, на что решиться. Вдруг вижу какую-то селянку, которая идет прямо ко мне. Я остановилась в недоуменье: что ей понадобилось в такое время в гетто? Вдруг слышу: «Де тут гетто?» Я объяснила ей, что этот дом и есть гетто. «Як бы побачыты жинку ликаря Б.?»¹ — говорит мне эта украинка. Удивившись, отвечаю, что это я. Тогда она сказала, что ей обо мне рассказала наша общая знакомая. А сама она хорошо знает одну бабу, которая как раз идет в свое село Капустяны, где стоят румыны. И вот она пришла, чтобы предложить мне уйти вместе с той женщиной. Я уточнила, украинка ли та женщина, и, конечно, ухватилась за это предложение. Мы условились, в какой день отправимся. И я стала лихорадочно готовиться к уходу, соблюдая все меры предосторожности, дабы никто не проник в мою тайну.

Она пришла за мной через несколько дней, на рассвете. Я попрощалась только с девочкой Соней, дочерью моей ближайшей соседки (ее мать рано утром ушла на базар). Не могу здесь не вспомнить об ужасной судьбе этого ребенка.

Соня всегда вызывала во мне чувство шемящей грусти и нежности. Страшное время она пережила у каких-то украинцев и долго не знала, где ее мать, а когда мать объявилась — пришла в гетто и поселилась с нами. Ей было всего одиннадцать лет. Она часто говорила матери: «Если тебя убьют, я жить не буду. Без тебя не останусь». Когда ее мать пошла на регистрацию в СД, она на всякий случай не взяла Соню с собой. Девочка несколько дней ждала мать, затем, убедившись в том, что она не вернется, пошла в СД и сама предалась в руки убийц.

¹ Где тут гетто? Как бы увидеть жену врача Б.? (укр.).

Итак, я схватила свой узелок с вещами, и мы тут же отправились. Окольными путями, через предместье и боковые тропинки, пришедшая за мной женщина вывела меня за город. По дороге к нам присоединилась та, с которой мне надлежало отправиться в путь. Я ушла — с тем, чтобы вернуться в Умань только по возвращении Красной армии. Это было 16 августа 1942 года. Евреи прожили в гетто да ноября 1942 года...

Позже мне стало известно, что однажды из лагеря прибыли несколько освобожденных пленных, которые поселились в гетто. Евреи были очень довольны, так как видели в этом хорошее предзнаменование. И спокойно готовились к зиме.

А однажды из СД пришел приказ: всем немедленно явиться на регистрацию, даже с маленькими детьми. Как только евреи явились, женщин сразу заперли в сарае, а мужчин проверили и нескольких человек, работавших на моторемонтном заводе, отослали на работу. Остальных там же и убили. Из тех, кто был отправлен на работу, спаслись только три человека — им вскоре удалось сбежать в Бершадь и скрыться.

...Глухими селами, окольными дорогами пробирались мы с моей случайной спутницей по дороге к селу Степашки, откуда нам предстояло переправиться через Буг.¹ Моя спутница была очень толковой и находчивой женщиной. Если она видела слишком пристальные взгляды в мою сторону, то очень ловко вставляла фразу о том, что я сестра батюшки из дальнего села, через которое нам предстоит идти или через которое мы уже прошли. Делала она это очень тонко, и все проходило благополучно

В селах чувствовалась скрытая, но очень сильная ненависть к немцам. Поэтому через села мы проходили совершенно спокойно, и чем дальше, тем увереннее. Боязнь, что нас задержат, совершенно рассеялась. Недалеко от станции Бубновка² мы в жаркий летний день подошли к колодцу и присели, чтобы выпить свежей студеной воды. Находимся мы у подножья склона, мягко спускавшегося вниз, а наверху плотной стеной стоял густой лес. Не успели посидеть несколько минут, как от леса к нам подошли три человека. По виду это были местные крестьяне. Они начали нас расспрашивать, кто мы и откуда. Моя спутница рассказала, что мы идем в село Капустяны, что у нее там племянница с детьми, а у меня — муж и дети. Мы ходили в родные места ликвидировать свои дела и переселяемся окончательно в Капустяны, потому что оттуда детей не забирают в Германию. Последнее было верно, так как из мест, оккупированных румынами, детей в немецкую каторгу не отправляли.

¹ Расстояние от Умани до Степашек 89 км.

² Расстояние от Бубновки до Степашек 16 км.

Один из подошедших обратил на себя мое внимание: глаза хитрые, с огоньком. Он сразу стал рассказывать, как в селе Червонном, возле Бердичева, немец очень придирался и избивал рабочих завода. Одному стало немоготу, он не выдержал издевательств, схватил гирию и на глазах у всех саданул немца гирей по черепу. Тот так и грохнулся. А этот спокойно вышел и исчез. «Не надо только бояться этой нечисти, и если нет оружия, то просто окропом¹ их», — повторил он несколько раз последнее слово. Двое других молча и сочувственно улыбались. Я еле сдерживала себя. Я поняла, что это партизаны. Как сказать им, что я ищу их, что мне не в Капустяны надо, что мой путь с ними! Но на меня сурово смотрела моя спутница, затем она поднялась и двинулась вперед. Я молча пошла за ней, а те трое немедленно куда-то исчезли.

Вскоре мы добрались до Степашек. Остановились у учительницы. Жила она с детьми, муж был репрессирован. В ней чувствовалось какое-то раздвоение: с одной стороны, немцы и их правление вызывали в ней, по-видимому, враждебное чувство, но с другой — репрессированный муж, что в прошлом заронило в ее сердце постоянную обиду и боль. Ее подруга Миля, дочь священника, потерявшая мужа таким же образом, относилась к немцам вполне доброжелательно. Вообще, симпатии к немцам наблюдались там, где в прошлом кто-то пострадал от репрессий или в настоящем весьма выгодно устроился и свободно мог грабить остальных. Мы общались с этими людьми с большой осторожностью. Моя спутница тихонько рассказывала мне, что они очень мной интересовались. Но ее заверения, что я настоящая украинка, влияли на них успокаивающе.

Мы ждали подходящего случая, чтоб перебраться вброд. Как-то вечером, когда из дома все разбрелись, а я одна сидела в комнате, предавшись своим грустным мыслям, скрипнула дверь, и в комнату быстрым шагом вошла женщина — селянка средних лет. На ее неприятном лице застыла приторно ласковая улыбка. «З недилею святою будьте вы здоровеньки», — слышу я заискивающий голос. День был воскресный. Я никогда не слыхала такого обращения и не знала, что ответить. «Хто це з вас полька?» — вдруг спросила она. «Мий дид був поляк»², — спохватившись, ответила я. Она села, начала расспрашивать, где хозяйка. Сказала, что пришла проситься на постой. Направляется с двумя детьми к мужу за Буг. Вскоре пришла хозяйка, сговорилась с этой женщиной, и в соседней комнате, примыкавшей к сеним, водворилась семья

¹ Окроп - кипяток (укр.)

² «Со святой неделей, будьте здоровы» - «Кто у вас полька?» - «Мой дед был поляк» (укр.).

из трех человек. Появление этой женщины было нежелательно, но пришлось покориться. Узнав, что мы собираемся переправиться через Буг, она выразила желание пойти с нами. Семейно временно оставляла здесь, а сама решила пойти к мужу на разведку.

На следующий день, часов в двенадцать, к нам прибежала женщина, с которой наша хозяйка условилась заранее. И мы направились к Бугу. На берегу реки было много людей. Кто купался, кто удил рыбу, а кто просто сидел под тенистыми ивами.

Вдруг раздался резкий свист. Это был сигнал — и с обоих берегов навстречу друг другу ринулись люди. Подняв юбки, двинулись через реку и мы. Иду, а в душе не то страх, не то странное чувство обмирания. Так, почти автоматически, добралась я до противоположного берега, держась за руку одной из женщин. Как только мы приблизились к противоположному берегу — опять свист, и нашими провожатыми овладело страшное замешательство. Они бросились в густые подсолнухи, мы — за ними, стараясь уйти подальше от берега. Когда все несколько успокоилось, я обнаружила, что моей спутницы нет, а возле меня та, которая пробирается к мужу. Она была очень довольна тем, что случай свел нас, и громко рассуждала о том, что дальше пойдет вместе со мной и в Капустянах, конечно, отдохнет в моем доме: ведь я, по совету моей спутницы, выдала себя за жительницу Капустян. Но я стала метаться, пытаюсь найти ту женщину, с которой уходила из Умани. В конце концов моей новой спутнице надоело ожидание, и она стала проявлять недовольство. Пришлось идти с ней. Она шла легко и быстро, я же еле плелась. Позже она жаловалась моей знакомой, что я хожу совсем не так, как ходят селянки, а ползу, «как жаба», и высказывала предположение, что я, наверное, городская. Вдруг я увидела ту женщину, с которой выходила из Умани. И бросилась к ней. Оказалось, что во время переправы она испугалась и побежала по другой дороге. Присутствие третьей женщины было ей явно не по душе, но надо было пока потерпеть.

Вскоре нам удалось освободиться от непрошеной попутчицы: ей подвернулась возможность поехать дальше на лошадях. Избавившись от нее, мы облегченно вздохнули. В тот же день мы добрались до Капустян.¹

Мои новые знакомые жили напротив сельрады, в большом доме, из которого их когда-то выкинули. Старик отец, две дочери и двое внуков — вся их семья. Мать жила пока в Умани, она-то и направила меня сюда. Вскоре женщина, которая шла со мной, ушла дальше в свое село. Я осталась. Хозяин

¹ Расстояние от Степашек до Капустян 57 км.

разговорился со мной. Он рассказывал о немецком произволе, о стерилизации людей, которую в некоторых местах начали проводить немцы. Недалеко от их села стерилизации подвергся какой-то кузнец, большой специалист в своем деле. Старик правильно оценивал немецкую власть и ее пропаганду. Все рассказы о жестокости Советской власти, о раскрытиям с «засоленными» вызывали его возмущение. Несмотря на привилегии, которые он получил сейчас, на возврат ему большого дома, он говорил о фашистах с глубокой ненавистью и оценивал их очень верно: «Воны самолюбы, тильки себе признають».¹

Ко мне он испытывал искреннее сочувствие. Его старшая дочь, работавшая на молочном пункте, навела справки насчет возможности моего устройства здесь и пришла с грустным известием. В тех местах жили в основном раскулаченные, теперь бывшие сосланные возвращались на старое место. Нужно было иметь пропуск, а у меня такого, конечно, не было, и положение мое усложнилось.

Посоветовавшись с хозяевами, я решила вернуться, так как в наших местах для меня было достаточно иметь только паспорт, и я могла сойти за украинку, здесь же прошлого у меня не было...

Пользуясь гостеприимством моих новых знакомых, я провела в этом доме три дня. Но решила вернуться. Однако не понимала, как это сделать.

На третий день моего пребывания в Капустянах старик пришел из села и сказал, что одна женщина собирается в Умань, так как получила известие, что там в плену находится ее муж. Староста выдал ей нужные документы, и на рассвете она собирается идти. Переночевала эта женщина у моих хозяев, и, едва рассвело, мы вышли из дому. Хозяин проводил нас огородами, чтобы мы не наскочили на дозор, так как стояла рабочая пора — уборка хлеба, никому не разрешалось уходить из села. На краю села старик остановился, крепко пожал мне руку — его рука была крупная и мозолистая.

Моя новая спутница — баба молодая, крепкая. Дорогу знает хорошо и ведет окольными путями. Шли, не встречая ни одной живой души. Баба шла, рассказывала о трудностях жизни, о том, как плохо приходится без мужа, и все поглядывала на меня. «А вы мени дуже знайоми, — наконец произнесла она. — Де це я вас бачила?» — «Я санитарка, робыла весь час в Уманський лікарни», — ответила я. — «А я лежала в лікарни, у мене була кровотеча»,² — сказала моя спутница.

¹ Они самолюбы, только себя признают (укр.).

² «А вы мне хорошо знакомы, где я вас видела?» — «Я санитарка, работала все время в уманской больнице». — «А я лежала в больнице, у меня было

Я сочинила целый рассказ о том, как я жила в Умани с мужем и он меня оставил, потому что ему приглянулась другая, помоложе. Видимо, тема моего рассказа чрезвычайно затронула мою новую знакомую. Разговор перешел на изменчивость чувств у мужчин и несчастное положение женщины. Так мы незаметно добрались до деревни, а оттуда вскоре и до мельницы, где нам предстояло переправляться через Буг.

У мельницы тьма народа. Кто-то сидит в ожидании очереди на помол — рядом мешок с зерном... Но большинство, похоже, выжидало момента для переправы. Я села на длинный ствол, лежавший тут же. Вдруг подошли два румынских солдата. Один из них начал спрашивать, по какому поводу здесь столько людей, и стал всех гнать в комендатуру. Моя спутница бросилась в сторону, а я подошла к группе мужчин возле мельницы и стала просить помочь мне. Рассказала им, что иду к пленному сыну, а женщина, что со мной — к пленному мужу. «Дай, тетка, десять марок, — сказал мне высокий худой человек, — и что-нибудь придумаем». Я немедленно вручила ему деньги. Он отошел к румыну, что-то сказал ему и вскоре вернулся к нам. В это время раздался свист, и люди начали торопливо входить в реку. Мой новый покровитель закатал штаны до колен, взял мою корзинку. Я ухватилась за его рукав и двинулась через Буг. Замирая от страха, добралась до противоположного берега. Всунула ему в руку монету и, вся дрожа, вышла на берег. Оглядываюсь и вижу: за нами, с трясущимися губами, синяя от холода, хотя стояла жаркая пора, идет моя спутница из Капустян. Мы обрадовались друг другу и бросились прочь от реки, как нам посоветовали жители этого села, стоявшие у ближайших домов. Мы завернули за угол и попросили у хозяев разрешения зайти во двор. Нам разрешили, и мы провели там, в глубине двора, несколько часов, лежа на земле и греясь на солнышке. Подсевшая к нам хозяйка рассказала, что только вчера здесь убили молодую девушку из соседнего села, когда она пыталась перебраться через реку.

Когда солнце стало опускаться к горизонту, хозяин этого двора, получив от меня коробок спичек, проводил нас из села. Мы прибегли к его помощи потому, что немцы, как нам стало известно, в определенных местах устраивали засады и ловили случайно попадавших в это село людей. Поэтому мы далеко обошли места, где могли быть немцы, вышли на широкую дорогу и быстро двинулись к соседнему селу.

У ворот первого дома стоял какой-то крестьянин. Мы попросились на ночлег. Он согласился нас принять. Хозяйка тоже встретила нас приветливо, накормила и предоставила постель. Разговорились. Хозяин рассказал, как хорошо жилось им до

кровотечение» (укр.).

войны, как они уже привыкли к колхозу, какими стали зажиточными. А война вдруг все разрушила. «Кожный мав корову або теля, у кожного були куры, гусы, качки. Жилы зовсим непогано, а иншим дуже добре. И звидкы на нашу голову вырвалась ця нимота».¹

Наутро мы пошли дальше. Недалеко от Гайсина расстались: женщина направилась в Умань, а я свернула в сторону.

Прохожу через Гайсин² часа в два-три дня. По дороге встречаются мне двое — муж и жена. «Дывысь, це жидивка», — слышу я, как жена толкает мужа. «А тебе что, какое тебе дело?» — отвечает он. Я скорым шагом иду в сторону от них. «Куды йдете, жинко?» — обращается ко мне какая-то женщина. «К пленному сыну», — отвечаю. «Ось сюды, за вугол, там воны уси, бидолагы», — слышу в ответ.³

Вспоминаю, как в Степашках случайная знакомая говорила про меня: «Ходить вона, як жаба». И я подтягиваюсь и присматриваюсь, как ходят деревенские женщины, стараюсь им подражать. На стыке двух улиц останавливаюсь, так как не знаю, куда направиться. Старуха, идущая навстречу, пристально смотрит на меня, и на лице ее проступает гримаса недовольства. «З недилею святою будьте здоровеньки», — говорю я, обращаясь к ней. «Спасибо, вам тако ж», — отвечает она мне, и лицо ее расплывается в улыбке.

Спрашиваю у нее дорогу и иду дальше, выхожу из города и присоединяюсь к какой-то старушке скромного вида, которая идет к себе в село — в Уту. Она рассказала, что в этот день в Гайсине всех евреев согнали и заперли в сарай. Вот, оказывается, почему в меня всматривались так пристально. Я говорю, что иду в Кожанку, где живет мой брат, а оттуда — к пленному сыну в Казатин. Этот маршрут я выбрала, когда выходила из Капустян. В Кожанке жили родные нашего врача, у которых я однажды уже останавливалась, и я рассчитывала и на этот раз найти у них приют. Старуха рассказала, что два дня тому назад в этой местности были облавы — искали партизана Ивана Калашника.⁴ С радостью услышала я, что в нашем районе появился партизан Калашник. Ночь провела у этой старушки, а утром двинулась дальше.

Мне предстоит пройти через Китай-Город и дальше через Дашев; встречные селяне направляют меня кратчайшим

¹ Каждый имел корову или теленка. У каждого были куры, гуси, утки. Жили совсем неплохо, а иные очень хорошо. И откуда на нашу голову вырвалась эта немчура (укр.).

² Расстояние от Капустян до Гайсина 57 км.

³ «Куда идете, женщина? Идите сюда, за угол, вон там все бедолагы.» (укр.).

⁴ Иван Калашник (1902 — 1943) командир партизанского отряда имени Чапаева.

путем мимо леса. Выбираю этот путь, ибо по главной дороге взад и вперед непрерывно снуют немцы. Подхожу к какому-то хутору. К воротам усадьбы выходит молодой украинец и с немым вопросом смотрит на меня. Я спрашиваю у него дорогу на Китай-Город. Он советует идти лесом — так спокойнее. Мне приходится несколько изменить направление. Иду большой дорогой, пересекаю большую деревню, захожу в чей-то двор попросить какой-нибудь еды, взамен предлагаю спички. Молодая женщина охотно меняет хлеб на спички. Услышав, что иду к пленному сыну, она почему-то разговаривает со мной очень недружелюбно, говорит, что сомневается, действительно ли я иду к сыну и как это я узнала, где он находится.

С тяжелым чувством спешу уйти. На краю села замечаю две женские фигуры. Стоят, смотрят вперед, о чем-то тихо шепчутся и сокрушенно кивают головами. Подхожу. Узнав, что направляюсь на Дашев, сообщают, что по всей дороге стоят заставы из мадьяр: ищут партизан. Можно, конечно, идти, если знать точное направление и иметь исправные документы. Тут к нам подходит женщина с тяжелой корзиной. Спешит она в Дашев, сюда приходила за мукой: сегодня у нее крестины. Мадьяров она не боится и зовет меня с собой. В нерешительности следую за ней. За поворотом нас останавливает высокая, стройная девушка. Категорически не советует мне идти этой дорогой, лучше через Шабелино и Бабино — это совсем окольный путь, через леса. Я поворачиваю и иду с ней. Обещает вывести на дорогу. Проходим мимо того двора, где полчаса тому назад ко мне отнеслись так недоверчиво. Хозяйка в ответ на приветствие кричит моей новой покровительнице: «Чего эта женщина возвращается? Она ведь только что шла вперед». Та ей говорит, что у меня нет нужных документов и потому я не решаюсь показаться мадьярам. К моему удивлению, все обходится благополучно, и мы идем дальше.

Невыносимо жарко, солнце жжет немилосердно. Мои босые ноги от раскаленного песка покрываются волдырями. Я еле тащусь. Наконец добрались к домику этой девушки. Ее уверенность, спокойное лицо, рослая фигура внушают доверие, и я вхожу к ней в хату, не испытывая никакой тревоги. Угостили молоком, я отдохнула и собралась в путь. Вывели меня за село, и я пошла в Шабелино. Мне говорили, что часть пути я должна пройти левадами — низинами возле реки, затем войти в лес и четыре километра идти лесом. А там, за лесом, — Шабелино.

После долгих расспросов добралась я наконец до речки. Прошла некоторое расстояние лугом и спросила пастушка, где

дорога на Шабелино. Он ткнул рукой в направлении дороги, уходящей вверх, в глубь леса.

Уже четыре часа дня. В лесу ни души. Изо всех сил стараюсь идти как можно быстрее. Дорогу угадываю только по следам колес. Кажется, что лес никогда не закончится.

Наконец, добралась до конца леса — отсюда опять видно поле. По полю, прихрамывая, передвигается женщина — собирает колоски. В стороне видна церковь. Но почему церковь слева, в стороне? Ведь по рассказам, когда выйдешь из лесу, она должна быть прямо напротив.

Окликаю женщину и спрашиваю, где Шабелино. Оказывается, я пошла неправильно. Пришлось возвращаться обратно, к тому селу, откуда вышла, но только с другой стороны. Слезы досады душат меня. Отекшие ноги все в волдырях. В этот день я прошла уже больше тридцати километров... и вернулась на старое место, где каждый день устраиваются облавы.

Прошу женщину подойти. Это бедная, изможденная старуха. Я предлагаю ей коробку спичек и прошу вывести меня на дорогу. Спички, видимо, ей очень нужны, она берет у меня коробку, поворачивает ее во все стороны, осматривает и идет вперед. Я за ней. Мы выходим из леса, довольно долго идем вдоль речки, затем входим в лес. Уже около шести часов вечера. Солнце косыми лучами освещает низ деревьев. Идем быстро. Проходим довольно значительное расстояние. Но моя проводница хочет вернуться. Я умоляю ее пройти со мной еще немного. Она уступает и идет со мной еще минут пятнадцать. Затем решительно останавливается, и я чувствую: ничто не поможет. Дальше надо самой. «Идите прямо, никуда не сворачивайте, держитесь прямой дороги, выйдете к лису, буде видно Шабелино»,¹ — напутствует она меня.

Иду скрепя сердце. Немного отошла — смотрю, дороги нет. Лес будто сомкнулся еще тесней, и вдруг поперек, слева направо, пролегла дорога. Мне наказано было идти прямо, не сворачивая, а здесь направление так резко изменилось. Пытаюсь пройти прямо — чаща, густые кустарники. Что за напасть? Как быть? А вечер надвигается быстро. И так не хочется ночевать в лесу. Под кожу забирается страх, сердце мучительно сжимается.

Останавливаюсь и решаю пойти вниз, направо. Делаю шагов пятьдесят и вижу, как снизу поднимаются две фигуры. Вглядываюсь — это два парня лет по шестнадцать — семнадцать, ученики 8—9 класса. Останавливаюсь и жду. «Скажите, голубы, де дорога на Шабелино?» — говорю я. «Шабелино? Та

¹ Идите прямо, никуда не сворачивайте, держитесь прямой дороги, выйдете из лесу, будет видно Шабелино (укр.).

це не в цю сторону. Мы покажемо. А тут дали не йдуть, там пид лисом мадьяры, воны тильки що жинку вбылы. Вона шла з больницы до дому та не мала документив. Вона их побачыла. Зблудла, перелякалась, а воны ии застрелылы».¹

Мальчики вывели меня из лесу, затем некоторое время шли со мной полем и, когда показались сады и церковь Шабелина, повернули и пошли своей дорогой.

Было уже совсем темно, когда я спустилась по откосу в село. Большой и сердитый черный пес выскочил из какого-то двора и бросился на меня. Я еле от него отвязалась и стала искать хату, где можно было бы переночевать. Подошла к женщинам, сидящим на пороге, и попросилась на ночь. Поколебались, но потом приняли. Зашла в хату. С удовольствием села на табурет. Какое счастье: сегодня ночую не в лесу, а возле людей, под крышей!

Рано утром — снова в путь. Узнаю, что раньше в этом селе немцев не было, а теперь приехали за хлебом. Ухожу очень рано, чтобы с ними не встретиться.

Дорога — опять лесом, идет широкой просекой. Прохожу мимо какого-то здания. На крыльце стоят двое мужчин и о чем-то говорят. Увидев меня, сразу скрылись. Их поспешность заставила меня призадуматься. Иду дальше. Вижу объявление о том, что необходимо задерживать каждого, кто проходит лесом. Теперь мне понятно, что заставило этих людей так поспешно скрыться в доме.

В знойный полдень добралась я до какого-то села. Неподалеку вижу немца в железнодорожной форме, направляющегося туда же. Я замедлила шаг. Какая-то женщина, что шла по дороге, начинает приостанавливаться. Остановливаюсь и я. «Що ций нимоти треба?»² — говорит она, обращаясь ко мне. Я пожимаю плечами и молча смотрю в том направлении, где виден немец. Старик, гнавший куда-то корову, успокоил нас. «Це вин прыйшов миняты сирныкы та мыло на мед та яйца. Не можуть воны без яець житы мабуть»,³ — добавляет он в сердцах.

Мы облегченно вздохнули и отправились дальше. Перехожу небольшой мостик, поднимаюсь на горбок и стучусь в хату, одиноко стоящую над дорогой. Вхожу. Сама хозяйка в хате, что-то делает у стола. Принимает меня приветливо и расска-

¹ «Скажите, голубы, где дорога на Шабелино?» — «Шабелино? Да это не в ту сторону. Мы покажем. А тут дальше не идите, там под лесом венгры только что женщину убили. Она шла из больницы домой, но не имела документов. Она их увидела. Поблуднала, перепугалась, а они ее застрелили.» (укр.).

² Что этим немцам надо? (укр.).

³ Да он пришел менять спички и мыло на мед и яйца. Пойди, не могут они без яиц жить (укр.).

зывает, что недавно из ее хаты вышел немецкий офицер. Он зашел к ней и попросил на чистейшем русском языке сто грамм хлеба и стакан молока. Она побежала к соседям, одолжила и принесла. Он отрезал маленький кусочек хлеба, выпил молока, поел, поблагодарил и пошел дальше. Ее озадачило, что немецкий офицер зашел к ней, чтобы попросить стакан молока, когда недалеко молочный пункт и немец мог получить там сколько угодно масла и сметаны. Он объяснил ей, что сам с Поволжья и потому так хорошо владеет русской речью, что очень спешит, а потому не стал искать, где можно поесть. Не задерживаясь, вышел и быстро прошел через село. Она была сильно озадачена и спрашивала у меня, кто бы это мог быть. Я ничем не могла помочь ей в решении этой задачки. Позже, когда я узнала от селян, к каким маскарадам прибегает Иван Калашников — его видели и погонялой на волах, и в форме немецкого офицера, — я подумала, что это, верно, был он, тот случайный гость, так скромно отрезавший кусочек хлеба у бедной украинской женщины.

Но надо двинуться дальше. Иду медленно: сил нет, а дорога ведет в гору. Вдруг меня нагоняет телега, запряженная парой крепких лошадей. Погоняет женщина. Она приветливо здоровается и неожиданно для меня останавливает лошадей и приглашает сесть. С удовольствием усаживаюсь в телеге и вытягиваю измученные ноги. Едем. Оказывается, работает она в молочарке¹, возит молоко на пункт. От нее узнаю, что двое немцев, комендант и его заместитель, получают по восемь килограмм сливок в день, а дети в селах сидят на сыворотке, которую не всегда можно получить. Ненависть к немцам так и клопочет в ней.

...Уже четыре часа дня. Уставшая и вконец измученная, подхожу к Скаженовке. У самого села останавливает меня здоровенный детина, босой, в голубой сатиновой рубашке, с русыми волосами, всклокоченными и запутанными. Видно, причесывается он редко, да и то пятерней. «Куды, тетка, идете?» — ласково спрашивает он меня. Заглядываю в его небольшие голубые глаза, наивно уставившиеся на меня, и начинаю обычный рассказ: иду, мол, в Кожанку к родным, а оттуда в Казатин к пленному сыну. Очень тороплюсь, так как отпустил меня староста на короткий срок в связи с полевыми работами. Не отпустить меня он не мог, так как не может свой, украинец, не пожалеть мать, которая рвется к своему сыну, что томится в плену. Оказалось, что парень сам из Кожанки. Он начинает спрашивать, знаю ли я Скоропадского Петра. Выяснилось, он прекрасно знает моего «родственника» из Кожанки, и я благодарю судьбу, что была там уже не раз и могу

¹ Молочной ферме.

до некоторой степени удовлетворить его любопытство. Парень просит меня передать привет его родным и сказать им, что он вполне доволен своей жизнью. Я показываю ему на мои распухшие, в волдырях, ноги и говорю, что из-за них, хотя солнце еще высоко, я должна искать здесь ночлег. «Ночуйте, ночуйте, можно», — говорит он важно на прощанье, и мы расходимся в разные стороны. Оказывается, я наскочила на «представителя власти», который неожиданно отнесся ко мне так благосклонно.

На следующий день — было еще далеко до вечера — подхожу к Кожанке. Недалеко от села сталкиваюсь с бабами, идущими с поля. Конечно, попасть туда, куда мне нужно, не так уж просто. Была в селе только один раз и то вошла с другой стороны. Выдать себя за родственницу тех, куда держу путь, — боюсь, так как они обо мне не знают и я могу попасть в неприятное положение. Рассказываю, что работаю санитаркой в той больнице, где служит фельдшерницей их дочка Аня, и, случайно попав в это село, направляюсь к ним, как к знакомым. Мое объяснение не вызывает подозрений, мы спокойно разговариваем и подходим к цели. Вот и хатка.

Вхожу во двор, весь усаженный цветами. Навстречу мне — хозяин дома, он куда-то направляется. Увидев меня, останавливается, меняется в лице. «Мария, Мария», — кричит он в глубь сада. Я стою и жду. «Заходите в хату», — говорит он, распахивая передо мной дверь в сени. Вскоре пришла хозяйка, неся на плечах конопли. Она положила свою ношу, вошла в хату и приветливо со мной поздоровалась.

Три дня пробыла я в этом гостеприимном доме. Помылась, отдохнула, привела себя в человеческий вид.

Деревня переживала тревожное время. Партизанщина стала с каждым днем набирать силу. Немцы свирепели все больше, и все чаще происходили наборы в Германию.

Сию в хате безвыходно. Чиню какой-то старый пиджачок, чтоб хоть чем-нибудь выразить свою благодарность хозяевам. Хозяйка сидит рядом. Говорим о моем завтрашнем, чуть свет, уходе. Смушенно улыбаясь, хозяйка говорит, что возвращаться к ним мне больше нельзя: за их хатой очень следят. Я успокаиваю ее и обещаю прийти только... свободной гражданкой в освобожденной стране.

И рано утром ухожу...

Не успела отойти от хаты, где нашла приют, как за мной бежит какой-то селянин и машет рукой. Останавливаюсь и жду. «Титко, — говорит он, приближаясь, — принесите нам, як прыйдете знов, голки, щоб шиты».¹ «Добре», — отвечаю я. Просьба этого селянина наводит меня на мысль взяться

¹ Тетка, принесите нам, как снова придете, иголки, чтобы шить (укр.).

за роль коробейницы. Мои рассказы о путешествии к пленному сыну подчас вызывали недоумение и недоверие. Свободное положение коробейницы давало много преимуществ.

С большим трудом дотащи́лась я до Белополя¹ в надежде найти там одного пленного врача и при его помощи устроиться. Но узнала, что врач этот незадолго до моего прихода по неосторожности попался в руки к немцам и его угнали в Бердичев к комиссару. Устраиваюсь на ночлег у одной богобоязненной женщины. Рассказываю ей о том, что не могу жить с дочерью и вынуждена уйти в поисках куска хлеба. Она полна сочувствия и вполне разделяет мое желание ходить по селам и выменивать товары на продукты. Она мне и рассказала, как врач попался немцам. Оказывается, он в последнее время по специальности не работал, а жил у одной вдовы в примаках.² И вот в селе появились двое пленных, которые стали агитировать против немцев, говорить о том, что приход Советов — это дело дней (а было это в 1942 году). Вокруг них стал собираться народ, и этот врач сблизился с ними. И стали они вместе обсуждать план, как устроить крушение поезда в селе Селиском, что вблизи Белополя. Но пленные вдруг исчезли, зато пришли немцы, арестовали и крепко избили доктора, обнаружили, что он еврей, и отправили его к комиссару в Бердичев. Этих «пленных» через несколько дней селяне увидели в немецкой машине.

Из Белополя я отправилась в Казатин на базар.³ Там, по совету моей знакомой из Белополя, я завела знакомство с одной женщиной, которая торговала на базаре. Под ее руководством закупила кое-какие товары, расспросила, как и на что выменивать, узнала, на какой базар и в какие дни лучше ходить, и направилась в Белиловку — это километров двадцать от Казатина. Мне было безразлично, куда идти, лишь бы как-нибудь прошло время.

Выхожу рано утром. Дорога лежит мимо полотна железной дороги, через село Махаринцы. Здесь я рассчитываю попробовать свои способности в торговле и начинаю обмен, а кроме того, решила здесь переночевать, так как сразу идти до Белиловки мне тяжело: на пятке левой ноги у меня зреет глубокий нарыв.

Из Махаринцев я вышла рано утром — с расчетом попасть в воскресенье на ярмарку. Утро прекрасное, спешить некуда. Только днем дошла я до Белиловки. Нарыв на ноге постоянно давал себя чувствовать. К селу добралась почти ползком и вошла в первый же двор. Прибежали двое дети-

¹ Расстояние от Кожанки до Белополя 100 км.

² Здесь: приживала

³ Расстояние от Белополя до Казатина 17 км.

шек, постояли рядом, затем пришла их мать. Я развернула свои товары, кое-что дала этой женщине и попросила разрешения остаться у них. Женщина согласилась, и я с наслаждением вытянулась на земле за хатой. Не успела передохнуть, как прибежала взволнованная хозяйка, всунула мне деньги за взятый у меня товар и попросила уйти со двора. Оказывается, пришел ее муж и категорически воспротивился тому, чтобы я у них ночевала: рядом живет полицай, и жена полицая уже заинтересовалась, откуда к ним во двор явилась женщина. Пришлось немедленно уходить.

Хожу из дома в дом. Из-за больной ноги это дается мне очень тяжело. Но никто не предлагает мне остаться на ночь, хотя товар берут охотно. Уже отчаявшись пристроиться где-нибудь на ночлег, вхожу в большой дом, стоящий над самой дорогой. На этот дом указала мне одна женщина. Здесь, по ее словам, хозяйка — штундистка,¹ человек очень богобоязненный и отзывчивый. Хозяйки нет — где-то за домом водится с коровой. В доме дочь и муж. Хозяин предлагает подождать. Входит хозяйка с ведром молока. Радушно здоровается, предлагает сесть. Я предлагаю все, что у меня есть из товаров. Торг у нас быстрый. И вдруг она неожиданно предлагает мне остаться, так как время позднее. С радостью остаюсь. Она замечает мою хромоту, интересуется, что со мной, и через несколько минут я, сидя на лавке, парю ногу в миске с горячей водой. Ее муж рассказывает, что он недавно вернулся — ходил далеко вместе с дочерью. Война застала ее в чужом районе, где она учительствовала. Она тогда примчалась домой в чем была. Пришлось идти с ней за вещами. «Признав я, що значить ходыты по селам, як стыкатыся та просытыся на нич. Й тепер усим, хто до мене прийде, я не видкажу та й дам змогу виддохнуты».²

После ужина все разошлись. Я вытянулась на соломе, голову положила на чистую подушку. Лежу и думаю: какое наслаждение иметь крышу над головой и не бродить с места на место! Вдруг слышу из соседней комнаты громкий голос моей хозяйки. Она молится. В какие прекрасные слова облекла она свою молитву! А закончила ее так: «Спаситель мой дорогой, и эту женщину, неизвестно откуда прибывшую, не оставь своим благодеянием. Направь ее на путь истины и выведи ее из всех трудностей». Я прислушиваюсь к каждому ее слову, и слезы благодарности льются из моих глаз.

Два дня провожу почти безвыходно у этих добрых людей. Мне рассказали, что накануне полицай отобрал у двух жен-

¹ Штундизм — течение в баптизме.

² Узнала я, что значит ходить по селам, как стучать и просится на ночь. И теперь всем, кто ко мне приходит, я не откажу и дам отдохнуть (укр.).

щин, пришедших на ярмарку, все, что они принесли для продажи. Ни их слезы, ни мольбы — ничто не помогло.

По совету моих хозяев я вышла в базарный день рано утром, чтобы не столкнуться с полициярами. Базар начался благополучно. С утра не ловили и не разгоняли народ, но к середине дня стали отбирать лук и муку — и все кинулись врассыпную.

С большим трудом удалось мне выбраться с базара и дойти к приютившим меня людям. На другой день я пошла в село Юзефовка.

До Юзефовки добралась, когда солнце стало садиться. В середине села, недалеко от речки, высится большая хата, и оттуда доносится душераздирающий плач. В недоумении останавливаюсь. Решаю зайти в хату — якобы с предложением соды.

В большой комнате перед образами рыдает женщина. Лицо — отекшее от слез. «Васенька, Васенька! Що ты там будеш робыты? Як ты будеш житы. За що ты маеш мучатись?»¹ Оказалось, накануне у нее забрали сына на работу в Германию.

Я немного постояла в хате и вышла, а крики ее не прекращались еще очень долго и были далеко слышны. Смотрю, к какому-то двору подъехала подвода, и оттуда возница выносит на руках одну за другой древних старух. Молодая женщина, которая ездил с ними на богомолье, пригласила меня в дом. У нее я и осталась на ночлег.

В большой комнате тихо. Молодая хозяйка куда-то вышла. Я задумалась. Мысль унесла меня далеко. «Свентий Боже, дай рятунок»², — раздается вдруг трескучий голос. От неожиданности вздрагиваю. Смотрю, старуха (по словам дочери, ста трех лет), что сегодня ездил в костел, сидит молча, как заговоренная, уставившись куда-то своими большими черными глазами. Два одиноких зуба торчат из ее рта; несколько щетинистых волос торчат на подбородке. Она плохо слышит и мало говорит. Но время от времени вскидывается, как со сна, и раздается: «Свентий боже, дай рятунок». В душе моей теплилась маленькая надежда, что в этой заброшенной деревушке, у этих женщин, найду я приют. В первый день дочь этой старухи пригласила меня переночевать, но на другой день я почувствовала, что надо уходить. Утром, часов в десять, я отправилась в путь.

В два часа подхожу к селу Большие Чернявки. Вошла в первый же двор, спросила разрешения у хозяев и, вко-

¹ Васенька, Васенька! Как ты там будешь работать? Как ты будешь жить. За что ты мучаешься? (укр.).

² Святой Боже, дай спасение (укр.).

нец обессиленная, улеглась в тени. Проспала, видимо, недолго, встала и пошла дальше. Вижу, женщины копают картошку. Увидели меня, позвали. Подхожу, начинают расспрашивать, что принесла для продажи. Вдруг одна из них не выдерживает и говорит: «Да идите швидко, не балакайте. Тилькы що проихав хрестный батько, вин и вас перехрестить, полицай!».¹ Я в недоумении. Но замечаю, что редкие прохожие стремительно скрываются во дворах, какая-то старушка делает мне усиленные знаки, чтобы скорей шла к ней в хату. Быстро перебегаю дорогу, чувствую: происходит что-то неладное. Старуха запирает за мной дверь на крючок. Оказывается, в сельраду приехал комендант. Вызвал его староста, потому что крестьяне не выполняют плана хлебозаготовок. А этот немец, проезжая по селу или по полю, избивает каждого, кто случайно попадется ему навстречу. И пастух, и случайный прохожий — все бегут прятаться, как только завидят тень от его лошади или услышат стук колес комендантской брички. «Хрестный батько», — говорят про него селяне с усмешкой: «Усих хрестить полициею».

Через несколько дней добралась я опять до Казатина. Снова зашла к той женщине, что снабжала меня товарами. Она ушла торговать. Не успела положить под кровать свой мешок с товаром, как в квартиру вваливаются два полицая — будто для проверки, кто здесь живет. Пользуюсь моментом замешательства и выхожу во двор. За дверью на вахте стоит третий. Уходить со двора неудобно. Иду в глубь двора и задерживаюсь там. Через несколько минут слышу — меня ищет хозяйка. Зовет зайти, так как полицай хотят проверить содержимое моего мешка.

Вхожу. Сын хозяйки хлопочет о выпивке и закуске; полицай сидят и важно смотрят в дверь. Вещи уже разбросаны и осмотрены. «Зачем, тетушка, тебе это барахло?» — спрашивает один. Не успела я открыть рот, как другой подхватывает: «Що ж ий робыты, исты треба».² Я сокрушенно киваю головой и начинаю жаловаться на свою дочь, которая живет со свекровью, и поэтому мне приходится самой искать кусок хлеба, собираясь по селам.

Полицаяев мои объяснения вполне удовлетворили, и они начали пьянствовать, а я и еще одна женщина, случайно сюда попавшая, тихонько выскользнули из комнаты. Переночевала я в тот раз у этой нечаянной знакомой, к счастью, не отказавшей мне в ночлеге.

¹ Да идите вы быстрее, не разговаривайте. Только что приехал крестный батька, он и вас перекрестит, полицай! (укр.).

² Что же ей делать, есть то надо (укр.).

Утром побежала за вещами. Как быть дальше, где найти того человека, ту семью, которая согласилась бы приютить меня?

Рано, едва рассвело, пошла на базар. Боясь облавы, люди, спеша и оглядываясь, сходились, быстро продавали, покупали и спешили домой. Я купила кучку маленькой рыбешки, рассчитывая пойти в Махаринцы к знакомой матушке и попроситься на ночь. Но вдруг на базаре мне стало плохо, почувствовала, что продолжать ходить пока нечего и думать. Сажу на бревнах во дворе возле базара и смотрю, как люди бегают, снуют взад и вперед. Постепенно толпа редет, а вот и совсем площадь опустела. Хозяйка дома, возле которого я сажу, пару раз выходит во двор и сердито хмурится, проходя мимо меня. Наконец не выдерживает и заявляет мне, что у них во дворе посторонним сидеть не полагается.

Поднимаюсь и иду в сторону села. В селе люди отзывчивее, скорее дадут приют. Иду «на дым» — в расчете, что хозяйка топит и разрешит мне сварить мою рыбешку.

Первая женщина, к которой я обратилась, сказала, что мне надо сначала пойти к старосте за разрешением. Я попросила ее показать, где сельрада, и пошла в ту сторону. Благополучно миновав сельраду, прошла через мост и углубилась в село. На бугорке, на повороте улицы, увидела хату — из трубы идет дым. Подхожу поближе. Двое ребятишек — один лет трех, другой около полутора — барахтаются в грязи. Стучусь и вхожу в сени. В кухне женщина стирает белье. Прошу разрешения почистить рыбу. Она разрешает. Постепенно выясняется, что она работница, присматривает за двумя малыми детьми, мать которых похоронили два дня тому назад. Умерла она от туберкулеза. Хозяин, отец этих малышей, работает на железной дороге. А сейчас ушел на базар. Вскоре в хату входит молодой парень с измученным, грустным лицом, несет на руках детишек. Отнесся ко мне приветливо и разрешил сварить себе еду, благо плита горела вовсю. Сам занялся детьми, накормил и уложил их спать.

Я быстро приготовила еду и пригласила хозяина разделить со мной трапезу. Оказалось, женщина, жившая у него, не умела готовить, и вся семья сидела на одной картошке. Я накормила всех своей рыбешкой. Наевшись, хозяин сказал, что он накануне купил на базаре большую рыбу, которую необходимо сварить. Я вызвалась сварить ему эту рыбу, лишь бы не отправляться на ночь в Махаринцы. Хозяин ушел на дежурство. А я сварила рыбу, переночевала — и опять в путь. «Заходите до нас, як будете в Казатыни»,¹ — сказал мне на прощанье хозяин. «Добре, добре», — отвечаю я и тут же решаю, что этим приглашением надо будет воспользоваться, когда явится нужда.

¹ Заходите к нам, как будете в Казатине (укр.).

Пропутешествовав несколько дней из села в село, решила отправиться в Бердичев за красками — селяне охотно их покупали. В начале сентября вышла я ранним утром из Белополья по направлению на Бердичев. Ноги мягко ступают по пыли, утро тихое, спокойное. Иду неохотно. Прошла около километра, останавливаюсь, взвешиваю все за и против и решаю, что идти в Бердичев не имеет смысла. Город большой, полицаев много, и там легче увязнуть. Подумала и решила снова пойти в Казатин.

На другой день утром, часам к двенадцати, подошла к квартире нового знакомого. Детишек во дворе не видно, дом заперт. У соседей узнаю, что работница ушла в соседнее село к больному сыну. Хозяин на работе, а дети временно находятся у тетки, на третьей улице. Ситуация подходящая.

Терпеливо жду заката. Пришел хозяин, увидел меня, поздоровался и тотчас же пошел за детьми. Вошли в дом. Привела все в порядок, детей уложила спать. Затем села и думаю: какое было бы для меня счастье пристроиться работницей в этой хатке, иметь свой угол и не мыкаться больше от села к селу! Чувствую, что дальше такой жизни не выдержу.

Днем встречные бабы рассказали, что под Шепетовским лесом идущих по дороге баб догнала машина, и им предложили подъехать до ближайшего села. Бабы охотно уселись, но как только машина въехала в глубь леса, им завязали глаза и завезли в лесную чащу. А там землянки, партизаны живут. Дали каждой бабе кучу белья, мыло и велели постирать. Постирали, перештопали все белье, получили на прощанье по куску мыла, и таким же порядком их вывезли из лесу и оставили на дороге. Иду и думаю: как жаль, что я не попала в число этих баб. Я бы уж оттуда не ушла.

Мой новый хозяин явно боится оставить меня в доме. Оказывается, его уже два раза обокрали работницы, приходившие неизвестно откуда, и он теперь никому не доверяет. С трудом убедила его оставить меня в качестве няни при детях, а документы мои предложила забрать к себе. Платы никакой не требую, только прокормиться. Выложила я на стол все свои документы: и паспорт «санитарки», и трудовую книжку, и даже свидетельство о том, что при немцах работала санитаркой в поликлинике. Все осмотрев, мой хозяин спрятал документы в сундук под ключ.

Скоро я привыкла к своему новому положению. Убедившись, что новая работница не крадет, к детям относится хорошо, заботится о них, мой хозяин отбросил все заботы о хозяйстве, о детях и, придя со службы, отправляется в село. Со временем до меня дошло, что завелась зазнобушка.

Я обжилась, присмотрелась на новом месте и решила, что надо узаконить свое положение — то есть надо прописаться.

Тем более что это был довольно удачный момент: в Казатин нахлынуло много беженцев, и мое появление в селе не привлекало особого внимания.

Но как пойти в управу? Убеждаю своего хозяина взять эту обязанность на себя и самому предъявить в управе мои документы. Отговариваюсь занятостью, невозможностью оставить детей без присмотра. Как-то вечером мой хозяин приходит домой и рассказывает: прописать не получается, необходима справка из Умани, с биржи труда, о том, что там меня сняли с работы. Начинаю советоваться, как быть, ехать ли мне в Умань за справкой или написать письменное требование. Мы откладываем окончательное решение этого вопроса, и я стараюсь больше об этом не напоминать. Но на душе тревога.

Очень скоро убеждаюсь, что мой хозяин горит яростной ненавистью к немцам. Это придает мне бодрости и уверенности. С каждым днем я захожу все в большее доверие к нему и чувствую, что стала в этой семье почти родным человеком. Мой Грыць, придя с работы, делится со мной всеми впечатлениями дня, рассказывает все, что знает о фронте, о немцах, о том, где наши. Вскоре он потихоньку рассказал мне (со слов одного поляка, ехавшего из Днепропетровска), что немцы потерпели страшное поражение под Сталинградом, потеряли огромную армию и наши перешли в наступление. Это были первые дошедшие до нас вести о крупных успехах Красной армии. Еще он дословно передал мне одно выражение этого поляка: «У Сталина в тюрьме было лучше, чем у Гитлера на свободе». Эти слова он повторял и смаковал с большим удовольствием. Затем мне попала местная газета и в ней большая статья о том, что послужило причиной поражения немцев под Сталинградом. Это еще больше прибавило веры в то, что победа наших близка, и мне стало легче бороться с трудностями и превратностями, выпавшими на мою долю.

Через месяц мой хозяин привел в дом молодую, а на следующий день, когда он впервые завтракал с молодой женой, пришли полицаи и арестовали его. Его обвинили в том, что он якобы обокрал в вагоне немца — забрал у него деньги. Несмотря на то, что доказательств не было, что дело за отсутствием улик давно уже прекращено самим комиссаром, его судили и приговорили к полутора годам тюрьмы.

Узнав о приговоре, мой хозяин взревел во весь голос: «Фашисты, будьте вы прокляты! Скоро придет вам конец, конец вашей подлой власти». Немцы зверски избили его и заковали в ручные кандалы. Каково же было изумление и злоба немца, когда утром Грыць, увидев своего палача, весь налился

гневом, сорвал с рук кандалы и бросил немцу в лицо. Тот кинулся к нему и споткнулся. Узник не выдержал и презрительно усмехнулся. Последовали новые ужасные побои. Немец так зверски избил его, что из горла ручьем хлынула кровь. Но ни побои, ни голод — ничто не сломило этого парня. А вскоре он и совсем оправился.

У меня же новое горе: молодой советуют, пока не поздно, бросить нашу семью и уйти к родным. Меня, конечно, пугает такой поворот. Я убеждаю молодую остаться, говорю, что судьба ее здесь. Она колеблется, но в конце концов остается.

Вскоре перед нами встает вопрос: как быть дальше, где взять средства на жизнь? Мобилизуем все наши жалкие возможности и решаем начать выпечку пирожков. Я берусь продавать их на базаре.

По воскресеньям рано утром, чуть свет, бреду на базар с корзиной на спине. Каждый раз с одним и тем же чувством страха вхожу на территорию, предназначенную для базара. По воскресеньям немцы приказывали торговать в определенном месте, огороженном со всех сторон высоким забором. Так было заведено во всех оккупированных ими местах. Это делалось, во-первых, для того, чтобы немцам и полицаям было легче отбирать понравившиеся им вещи и продукты, а во-вторых — чтобы удобнее было загонять людей в машины и увозить их, если последует соответствующий приказ.

Часам к двенадцати базар в полном разгаре — это форменная толкучка. Торговцы стоят с вещами — одеждой и утварью — и продуктами. А по базару в сопровождении своих переводчиц, расфуфыренных, с причудливыми прическами, ходят немцы.

Длинный переводчик в щегольском костюме, который он носит на немецкий манер, ходит по базару, будто чего-то выжидая, и пытливо всматривается в лица. В других местах, особенно в Умани, тоже были такие люди, что шли на базар, как на гулянье. Часто невольную улыбку вызывали девушки и молодые женщины, одетые, как на бал, — в прекрасных вечерних туалетах, дорогой обуви и тончайших чулках. Случалось, что обладательница бального платья не знала, как его надеть, и надевала задом наперед. Полицай в дорогих костюмах из коверкота и бостона, в брюках, собранных на щиколотке, как у заграничных туристов, важно прохаживались по базару. Иногда на базарах появлялись жандармы, и народ, завидев их, разбежался во все стороны. Чем ближе подходила Красная армия, чем сильнее был ее напор, тем больше нагнали и свирепствовали немцы.

По базару начал ходить — каждый раз в другой форме — один из комиссаров. Высокий, широкоплечий, белобрысый, со шрамом на левой щеке, расхаживал он по базару и свистом, как собаке, давал знать своей переводчице, чернявой украинской девушке, где он находится, если почему-либо толпа их разъединяла. Незаметно подходил он к тем, кто заканчивал сделку и приступал к выплате или получению денег. Как коршун, выхватывал он деньги и прятал к себе в карман. Потом начинал хватать то, что попадалось ему под руку: брюки, одеяла — ему годилось все.

Как-то раз продавец конфет со своим лотком пришел несколько позже обычного и, к своему удивлению, увидел, что место, где он всегда стоял, занято. Молодая барышня разложила мыло и отказывалась уступить место его старому хозяину. Завязался горячий спор. Желая доказать свои права на это место, тот открыл бумажник, чтобы показать лист из финотдела. В этот момент немецкий комиссар запустил руку в его кошелек и вытащил оттуда пачку денег.

Торговец, беженец из Воронежа, завопил и схватился за свой бумажник. В ту же минуту он получил несколько крепких ударов в лицо, и, взяв за ухо, немец провел его через весь базар в полицию... Строптивный продавец конфет вернулся через пару часов — был он бледен, несчастен, стоял не поднимая глаз.

Однажды по селу пронеслась новость: объявлен новый набор в Германию. Село заволновалось, загудело. «Назначили» трех девушек. Двух из них выкупили зажиточные родители — зарезали кабанов и умаслили начальство. У третьей же такой крепкой опоры не было, и ей предстояло отправиться в Германию. Мать заявила, что не отдаст дочь в немецкую каторгу, и стала разносить свое имущество по хатам. А девушка куда-то исчезла. Ее брат, случайно оказавшийся поблизости от дома, чуть не попался в руки немцам, когда те пришли за жертвой. С большим трудом удалось ему вырваться и бежать. Все село замерло от страха, не зная, чем все это кончится.

Дня через два, вечером, мимо нас промчалась машина. Из каждой хаты выскочили люди и с замиранием сердца наблюдали за происходившим.

Комиссар, в сопровождении еще одного вооруженного немца, подъехал к дому, где жила пропавшая девушка. Все было погружено во мрак, хата — на запоре. Немцы через окно бросили внутрь хаты гранату. Раздался взрыв, треск, окошко сорвалось, печка развалилась, и перед глазами селян предстала зияющая внутренность избы. Потом загудела машина, тьму пронзил резкий свист — и все смолкло.

Наутро в каждом дворе обсуждали вчерашнее происшествие. Все искренне жалели бедную вдову, оставшуюся без

крова, и проклинали немцев. «Вызволитель наш, — слышалось то там, то тут, — прыйшов нас вызволяты вид вильного життя, вид батькывишины, вид дитей, вид радощив, вид сала и хлиба. Будь проклята та маты, що його родыла та й та земля, що його вскормыла».¹

Через два дня не вернулся с работы старший сын нашей соседки. Утром ушел, уж вечер — его нет. На другой день бедная мать помчалась узнавать, куда делся сын. Захожу — она лежит на дворе возле дома, уткнувшись лицом в траву. Я ее окликнула. Еле подняла она свое залитое слезами лицо. Ее Васю схватили по дороге на работу, бросили в вагон и в тот же день куда-то отправили.

Люди шепотом передавали друг другу, что скоро конец, скоро немцы уйдут из Казатина — точно так же, как откатились они от Сталинграда, Днепропетровска и других мест. Рабочие, которые работали на железнодорожном пути, видели поезда, идущие на запад и заполненные людьми, которых везли, видимо, в Германию. Они кричали из вагонов: «Не отдавайте людей, крепитесь, Днепропетровск уже взят, скоро наши будут здесь!» А пока здесь как будто ничто не изменилось, все так же властвуют немцы, и так же усердно служат им осатанелые полицаи.

Вечером пришел с работы сосед и рассказал, что сегодня прошел огромный поезд и два вагона были полны детьми без матерей, вообще без старших. Откуда и куда везут этих детей — не знал никто. Передавали, будто в Казатине во время остановки полицаи предлагали стоявшим поблизости людям взять себе кого-нибудь из детей на воспитание. Одна женщина дала полицаю десяток яиц и получила ребенка.

Как-то к нам во двор зашла женщина — попросить подаяния. У нее не было правой руки. Моей хозяйки, как обычно, дома уже не было: ушла к своей сестре, жившей неподалеку. Дети играли возле меня на полу, я что-то штопала. Вид этой несчастной, изможденной женщины живо напомнил мне недавнее прошлое, когда я, не имея пристанища, ходила из хаты в хату, из дома в дом.

Я усадила бедную женщину за стол и налила ей тарелку нашего скудного борща. Хлеба у меня не было, но женщина была и этому рада и с жадностью съела борщ. Разговорились. Она — с Кубани. Была выслана оттуда немцами вместе с целым эшелонем людей и оказалась в Казатине с двумя мальчиками. Руку потеряла на Кубани при переходе их ста-

¹ Освободитель наш пришел нас вызволять от вольного життя, от родины, от детей, от радости, от сала и хлеба. Будь проклята та мать, что родила его и та земля, что его вскормила (укр.). Имеется в виду нацистский пропагандистский плакат «Гитлер — освободитель».

ницы из рук в руки. Рассказала об упорном сопротивлении наших, о немецких порядках. Зашел разговор о тех детях, которых лишь недавно провезли полными вагонами. Женщина была в курсе этого дела. По ее рассказам, всех их выгнали из родных мест и погнали пешком на запад. Толпа двигалась огромная. Женщины тянули детей и мешки с жалким имуществом. Матери изнемогали от усталости и горя. Стиснув зубы, шли молча, и только плач детей оглашал воздух.

Вдруг толпу догнали несколько грузовых машин — они шли порожняком. Немцы остановили машины и предложили посадить детей на грузовики. Их, мол, довезут до следующей остановки, а там вручат родным. Многие матери обрадовались и посадили ребят. Все довольны: и себе легче, и ребятам не мучиться. Машины помчались вперед, а взрослые продолжали перебирать ногами по дороге. Вечером добрались до станицы. Спрашивают, где дети. Оказывается, машины промчались дальше. Родные начали волноваться. Немцы их успокаивали, уверяя, что на следующей остановке дети уже будут их поджидать. На следующей остановке та же история: детей нет. Плач, стоны, крики... Так и не увидели больше своих детей несчастные матери. Жители Казатина говорили, что детей отвезли в большой госпиталь в Бердичев, где их использовали в качестве материала для пластических операций и каких-то экспериментов.

На другой день к нам постучался какой-то мужчина. Входит. Просит, нет ли чего покушать. Усаживаю, опять даю тарелку борща, хлеба, как обычно, нет. Смотрю, мой гость вынимает свою ложку, кусочек хлеба, и ест он как-то не по-селянски. Всматриваюсь и чувствую: есть в нем что-то необычное. По виду — обыкновенный селянин, говорит, что беженец из Воронежа. Последнее время работал там сторожем при театре. Глаза у него черные, живые. Зубы какие-то чересчур белые. Поел, поднялся и как-то особенно, подчеркнуто перекрестился перед образами.

Вдруг прибежала соседка, которая навещала меня довольно часто. Мне не по душе было ее назойливое любопытство к нашей семье и ко мне в особенности, но приходилось терпеть, не показывать виду. «Вы бачили чоловика, який прыйшов за хлибом? — начала она сладеньким голосом. — Ей бо, це жидок, у нього такий нис як у жида. До вас вин не заходив?» — «Ни, я його не бачила, заходьлы люды просыты хлиба, але не бачила такого. Господь його святыи знае, хто жид, а хто нэ жид. Кожна людына хоче житы»,¹ — ответила я и на этом закончила разговор.

¹ «Вы видели человека, который пришел за хлебом? Ей богу, это еврейчик, у него такой нос, как у еврея. К вам он не заходил?» — «Никого я не видела, заходили люди просить хлеба и только не видела такого. Го-

Эта же соседка вскоре сообщила мне, что объявлена всеобщая перепись населения и в ближайший день мы подлежим перерегистрации. По ее словам, после регистрации на дверях каждой хаты будет вывешена таблица с точным указанием количества обитателей. Таким путем легче будет выявить, скрывается ли в селе кто-то чужой. Слушаю ее спокойно, стараюсь ничем не выдать своего волнения. Еле дождалась ее ухода, чтобы как-нибудь обдумать план действий. А ведь я до сих пор еще не прописана! Как быть? Вечером объявляю хозяйке о том, что мне необходимо сходить в соседнее село Махаринцы, где я оставила у знакомой материю и кое-какие вещи. Это была правда, я действительно оставила матушке, жене псаломщика, некоторые вещи, чтобы не тащить их с собой. На другой день, очень рано, я ушла, добралась к матушке, потом под благовидным предлогом махнула в соседнее село Сестреновку.¹ Туда я попала как раз после того, как там убили цыган. По рассказам сестреновских жителей, через их село проехало двенадцать подвод цыган. Откуда и куда они направлялись — неизвестно. Нашлись «добрые люди» и донесли в полицию. Табор немедленно окружили, всех схватили и уничтожили.

У нас пока спокойно, никто не приходил, но всеобщая перепись — дело ближайших дней. Моя хозяйка тоже обеспокоена тем, что я не прописана, и мы решаем, что в тот день, когда в нашем местечке начнется перепись, я постараюсь куда-нибудь уйти. Наутро ей дали знать, что сегодня ждут гостей. Сообща решаем, что я и ее сестра поедem в колхоз за соломой. Это займет целый день, а там будет видно.

Целой компанией уезжаем далеко в поле. По дороге все предлагают мне вернуться, обещая привезти солому к нам домой, но я не поддаюсь никаким уговорам. Высоко нагрузив соломой сани, идем пешком. Но до села довольно далеко, и мои покровительницы, сестра хозяйки и ее дальняя родственница, несмотря на мои протесты, усаживают меня на соломе.

Сижу наверху, оглядываюсь по сторонам. С непривычки тревожится сердце. Пока все идет благополучно. Дорога прямая, лошадки плетутся не спеша. Парнишка-кучер останавливает сани, вылезает и усаживается рядом со мной. Возжей у него нет вообще, а когда он уселся наверху, лошади пошли сами, без всякого управления. А тут крутой поворот. Лошади повернули, и сани с размаху — в сторону, а мы — на землю. Паренек упал и тотчас поднялся, а я крепко ударилась головой об лед и потеряла сознание. Очнулась от холода (меня

сподь и его святые знают, кто еврей, а кто не еврей. Каждому человеку хочется жить». (укр.).

¹ Расстояние между Казатином и Сестреновкой 11 км.

облили холодной водой) и услышала крик: «Боже ж мий, жинка убылась!»¹

Как я попала к себе в хату — не помню, но, очнувшись, увидела соседку, которая положила мне на голову лед. Моментально сознание прорезала одна мысль: надо помнить, кто я, и ничего лишнего не говорить. Так пролежала до утра, с отеками, желто-лиловым лицом, а утром встала и принялась за обычную работу.

Вскоре меня прописали, но другим способом — за пол-литра водки. Так во время немецкой оккупации я получила право на существование.

А тут мой хозяин из полиции, где он отбывал предварительное заключение, сбежал под Бердичев — к себе на работу. И нас стали часто навещать полицаи, старавшиеся доискаться, куда девался беглец и откуда он родом. Так как меня называли «тетка», причем и я, и хозяин — оба смуглые, черныеглазые, то один из полицаев решил, что я действительно родственница, и стал угрожать мне, допытываясь, откуда хозяин родом. Еле-еле удалось мне при помощи случайно зашедшей соседки отбояриться от приставаний полицаия и уверить, что я чужая женщина, беженка, и ничего из прошлой жизни хозяина не знаю. Через некоторое время полицаи вроде бы про нас забыли.

А хозяин начал навещать нас по ночам. Устроился он у себя на родине под Бердичевом, благо тамошний староста оказался порядочным человеком и всячески его прикрывал. Определился он на работу в лесу, на заготовке дров. Их там собралось несколько человек, обзавелись удостоверениями, и стали парни раздумывать над тем, как бы посчитаться с немцами.

Как-то прибежал мой хозяин и взял револьвер, спрятанный у нас на усадьбе. Вскоре явился за патронами, которые когда-то достал у товарища. Перед пасхой пришел ночью за женой и забрал ее к себе, чтобы вместе с ней провести праздничные дни. Вернулась она оттуда чем-то сильно озадаченная. Через некоторое время тихонько призналась мне, что ее муж с хлопцами по ночам ходят иногда на «охоту» и укокошили уже двадцать немцев.

Я постаралась ее успокоить: сказала, что «охота» Грыця и его друзей происходит далеко от наших мест и никто о ней не дознается. Больше мы никогда к этому не возвращались.

Но вот как-то ночью раздался сильный стук в двери. Обычно двери открывала я, так как единственным ночным гостем был наш хозяин. В этот вечер я тоже ждала его и долго не ложилась спать. На сей раз к дверям не пошла, потому что почувствовала в стуке что-то необычное. Вышла хозяйка.

¹ Боже мой, женщина убилась! (укр.).

Прежде всего в дверь всунули винтовку, затем вошел полицейский, за ним другой, третий и лишь потом немецкие жандармы. Как потом стало известно, за нашей хатой все время следили. Один из полицейских разузнал, что хозяин иногда является по ночам домой.

Я моментально повязалась косынкой, схватила на руки ребенка, хозяйка — второго, стоим и ждем, что будет. Немцы обшарили все углы, крепко выругали полицейского, который их привел, обещали расправиться с ним за ложную тревогу и ушли. Мы облегченно вздохнули — на сей раз все обошлось.

Через день ночью пришел наш беглец. Выслушал все и впредь решил быть осторожнее. Утром я по его просьбе пошла в город за газетой. Шла очень охотно: хотелось кое-что узнать.

В это время в газетах стали появляться статьи, призывающие украинцев не ходить в лес «к зеленому зверю».¹ Газеты были полны рассказами о раскопках в Виннице: опять открыли ямы, в которых в определенном порядке расположены трупы.² В этих ямах возле трупов были найдены даже мешочки с хлебом и салом. Одновременно с этим появились на всех перекрестках снимки ям, трупов, сада, где все это обнаружено. В статьях красочно описывались зверства большевиков, те страшные издевательства, которым подвергались колхозники. И зывали авторы этих писаний «к разуму» простых людей, чтобы не шли они на помощь большевикам, не шли в лес к «зеленому зверю», то есть к партизанам. Но народ уже по-иному относился к этим рассказам. На базаре открыто говорили, что не может труп сохраниться с 1937 года и до сих пор не разложиться, да еще хлеб и сало — это, конечно, дела недавних дней, дела рук фашистов. Рассказывали, что один из жителей Казатина пошел утром на работу и домой не вернулся. Так и пропал без вести. Когда открыли раскопки в Виннице, жена поехала посмотреть, нет ли там ее мужа. К великому своему ужасу, она опознала труп мужа и начала истерически кричать. Собрались люди, а также немцы и полицейские. Кто-то из полицейских стал услужливо вытаскивать из кармана трупа документы — так у них обычно велось, Из документов выпала монета немецкого образца. Это было ярким доказательством того, что человек погиб недавно, а жена так громко проклинала немцев и их власть,

¹ Т.е. к партизанам.

² В мае-июне 1943 г. оккупационными властями заявили об обнаружении в местном Парке культуры массового захоронения свыше 500 останков расстрелянных. Нацистская пропаганда обвинила в преступлении НКВД. В свою очередь советские власти обвинили в этом преступлении гитлеровцев. Вместе с тем в архивах СБУ, относящихся к советскому периоду, нет данных о захоронениях, произведенных в Парке культуры.

что им пришлось ее арестовать, ямы прикрыть — и паломничество прекратилось.

Непрерывно начали тянуться поезда на запад. Все больше и больше эшелонов проходило через Казатин. Шли вагоны с обстановкой, с домашней утварью и очень красивыми, прекрасно одетыми женщинами в сопровождении блестящих немецких офицеров. Часто улицы заполнялись машинами, доверху заполненными чемоданами, и из кабин выглядывали кокетливые женские лица. И порой думалось: откуда такая масса красивых женщин, и неужели красота тесно связана с предательством и вероломством?

Необходимость кормить семью заставила меня основательно втянуться в роль базарной торговки. Как-то раз, незадолго перед отступлением немцев, уже собираюсь уходить с дальнего базара, который я в последнее время избрала местом для торговли, и тут смотрю — немецкие солдаты предлагают нитки. Подхожу. Немец протягивает мне картонку с нитками и просит восемь яиц. Двое других облокотились на него и лукаво на меня поглядывают. Цена ими запрошена чуть ли не втрое. Чувствую, как меня охватывает глубокая ненависть. Я некоторое время молчу и только верчу в руках картонку. Подошли еще несколько солдат и молча следят за мной. Вдруг я не выдерживаю, поднимаю глаза и с глубоким презрением говорю: «Ауфвидерзеен».¹ Солдаты, что стояли рядом, расхохотались, но подошел еще один и закричал: «Юде!» Мне стало нехорошо, но я вспомнила старуху из Юзефовки. «О matka бозка, дай рятунок», — подражая ей, произнесла я, не моргнув глазом. Немцы расступились, и я пошла прочь, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее.

После этого я две недели не ходила на тот базар.

Наши взяли Киев, дошли до станции Попельня² и остановились. Прошло немало времени — больше месяца. Народ стал волноваться. По вечерам зайдешь к кому-нибудь из соседей, все говорят о том, когда, наконец, прогонят немцев, — и вспоминают недавнее прошлое.

В один из вечеров собралось нас несколько человек. Мать моей хозяйки рассказывает: когда пришли немцы, люди стали поговаривать, что землю раздадут селянам: «Колы нас позвалы на сходы, — говорит она, — то обявылы, що землю роздадут. Ей-бо, мы плакалы. На що нам ця земля, мы вид ней видвыкы, мы вже попрывыкалы и ходылы в колгосп на роботу, йдемо як на службу ходять, ниякой тоби турботы. Не нада думаты ни за тяглову сылу, ни за посивну. Одробив свои часы, та й до дому, тильки трудодни шаталы, а в осены як велика

¹ До свидания, прощайте (нем.).

² Расстояние от Киева до Попельны 133 км.

семья та багато робитныкив, то в інших колгоспах по чотыри с половиной кило зерна кожному на трудовень. То мало не засыпались люди зерном. Понакуповали собі швейны машины, веломашыны та патефоны. Головне, щоб коривныкы были чесни люди та не кралы»¹.

Мой хозяин все-таки попался немцам в руки. Поймал его местный парень-полицай и повел в полицию. Рассчитывал на большую премию — пару сапог обещали. Но и тут немцы остались верными себе и выдали ему только две пачки табаку.

Мы замерли от ужаса, когда узнали об аресте Грыця — все по тому же обвинению в краже денег у немца. К счастью, о его похождениях никто не знал, и все закончилось сравнительно благополучно: немец, у которого украли деньги, давно никаких претензий не предъявлял, и отделался мой хозяин только тюрьмой. Отправили его в Житомир, откуда он был освобожден за два месяца до отступления немцев.

Люди стали упорно поговаривать, что перед отступлением всех погонят с мест и придется в стужу с детьми куда-то отправляться. Наши дети не одеты, не обуты. Сидим как-то все у себя в хате, и разговор вертится вокруг того, что нас отсюда выгонят, что в полиции уже готовятся списки тех, кто подлежит угону.

Я прихожу в большое волнение и обращаюсь к вернувшемуся из немецкой тюрьмы хозяину: «Що вы собі думаете, що будемо робыты як нас погонять, як у нас трое малесеньких дитей (к тому времени хозяйка моя родила еще девочку). Диты босы, голы».²

Грыць нагибается, поднимает топор, лежащий неподалеку, и говорит: «Вы як собі хочете, а я никуды не пийду. Бачите ось цю сокиру? Я нею двох нимцив зарубаю, — он поворачивает топор во все стороны и взвешивает в руке. — А там не шкода буде вмыраты: буду знаты, за що». — «Так»³, — говорю я и на этом успокаиваюсь.

¹ Когда нас позвали на сход то объявили, что землю раздадут. Ей Богу, мы плакали. На что нам земля, мы ведь от нее отвыкли. Мы же привыкли ходить в колхоз на работу, идем, как на службу ходят, никакого тебе беспокойства. Не надо думать ни о тягловой силе, ни о посевной. Отработал свои часы и домой, только трудовни (дни обязательные для работы в колхозе — ред.) считали, а осенью колья велика семья и много работников, в иных колхозах по четыре с половиной кило зерна каждому за трудовень. Тогда мало запасались люди зерном. Понакупали себе швейные машины, веломашыны (велосипед, жарг. — ред.), да патефоны. Главное, чтоб в руководителях были честные люди и не крали (укр.).

² Что вы себе думаете, что мы будем делать, когда нас погонят, у нас же трое маленьких детей. Дети босы и голы (укр.).

³ «Вы как себе хотите, а я никуда не пойду. Видите эту секиру? Я ею двух немцев зарублю, а там не жалко будет умереть: буду знать за что». — «Да» (укр.).

Вскоре немцы бежали, и так панически, что о нас совсем забыли.

Иду как-то с базара, догоняет меня инвалид-сапожник, наш сосед, и говорит: «Сьогодні у нас будуть гости, як прийдете до дому — прийдеться мабуть вже їх приймати».¹ Смотрю на него с удивлением. «Наши прорвалы фронт коло станції Попельни²», — добавляет он. — «Понятно». Подхожу к хате, в которой живу, вижу, во дворе возле окон стоит легковая машина. В квартире застаю пятерых немецких солдат. Один из них, по имени Мартын, — как я позже узнала, бывший кок на корабле, — протягивает мне свои грязные рукавицы и велит постирать. Я мотаю головой, знаками объясняю, что ничего не понимаю, и откладываю их в сторону. Жестикую, хватаясь за голову, кок рассказывает мне, что русские ведут свои танки прямо по живым людям, что целых десять дней пришлось им ползать на животе и на четвереньках по снегу и болотам, пока не вырвались из опасности, — вот почему у него такие грязные рукавицы.

Я слушаю и чувствую, как волна безумной радости заливает мое сердце. Я с трудом сдерживаю себя, я вспоминаю все пережитое за последние годы, вспоминаю их приход в Умань, их спесивые мерзкие физиономии, их презрение ко всему и все содеянное ими.

И вот сегодня я дожидаясь, чтобы услышать от немецкого солдата, какой ужас он испытывает, когда думает о встрече с русской армией.

Я вижу врага, повергнутого в прах. Как сладок этот миг!..

Через два дня они бежали, и 27 декабря 1943 года в пять часов вечера к нам в избушку постучали наши. «Можно войти?» — спрашивают они.

«Входите, входите, дорогие гости! Три страшных года мы вас ждем», — отвечаю я им, широко распахивая двери.

Березовская К. М.
1946 г.

¹ Сегодня у нас будут гости, как вернетесь домой, придется, возможно, их принимать (укр.).

² Попельня была освобождена 10 ноября 1943 г.